

The background of the cover features two overlapping silhouettes of a man's profile and his hand. The outer silhouette is dark blue, while the inner one is a lighter teal. The man's hand is raised to his face, with fingers slightly spread. The background is a solid, vibrant orange.

Джон Ле Карре  
**ГОЛУБИНЫЙ  
ТУННЕЛЬ**

ИСТОРИИ  
ИЗ МОЕЙ  
ЖИЗНИ

Дипломат, шпион, писатель  
о писателях, шпионах, дипломатах

CoRpus

Джон Ле Карре

**Голубиный туннель.  
Истории из моей жизни**

«Corpus (АСТ)»

2016

УДК 821.111-94  
ББК 84(4Вел)-44

## **Ле Карре Д.**

Голубиный туннель. Истории из моей жизни / Д. Ле Карре — «Corpus (АСТ)», 2016

ISBN 978-5-17-100470-5

Это не автобиография, а коллаж из воспоминаний, мастерски составленный корифеем детективного жанра. Джон Ле Карре в «Голубином туннеле» рассказывает не историю своей жизни, а истории из своей жизни, и их у него немало. Германия начала шестидесятых, Россия начала девяностых, беседы с Маргарет Тэтчер и Ясиром Арафатом, попытки работать со Стэнли Кубриком и Фрэнсисом Фордом Копполой, встречи со знаменитыми разведчиками и шпионами и воспоминания о родителях — об ушедшей из семьи матери и об авантюристе-отце.

УДК 821.111-94  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-100470-5

© Ле Карре Д., 2016  
© Corpus (АСТ), 2016

# Содержание

Предисловие	6
Вступление	7
Глава 1	14
Глава 2	21
Глава 3	27
Глава 4	29
Глава 5	33
Глава 6	35
Глава 7	36
Глава 8	40
Глава 9	46
Глава 10	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# **Джон Ле Карре Голубиный туннель. Истории из моей жизни**

John Le Carré  
The Pigeon Tunnel  
Stories from My Life

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© David Cornwell, 2016

© Л. Тронина, перевод на русский язык, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство Аст», 2018

Издательство CORPUS ®

## Предисловие

Почти каждая моя книга когда-нибудь да называлась “Голубиный туннель” – в рабочем варианте. Откуда взялось это название, объяснить нетрудно. Как-то, в очередной раз отправляясь в Монте-Карло просаживать деньги, отец решил взять меня, подростка, с собой. Рядом со старым казино располагался спортивный клуб, на границе его территории, на морском берегу, лужайка, и на ней – стрельбище. А пониже лужайки к самой кромке моря параллельными рядами уходили туннельчики. В них помещали живых голубей, вылупившихся из яйца на крыше казино и там же попавших в ловушку. Делать они должны были вот что: в крошечной тьме, трепеща, пробираться к выходу из туннеля, чтобы взмыть в средиземноморское небо и стать мишенью для желавших развлечься после хорошего обеда джентльменов, которые стояли или лежали тут же с двустволками наготове. Если стрелок промахивался или только подстреливал голубя, тот поступал, как всякий обычный голубь. Возвращался туда, где появился на свет и где его поджидали всё те же ловушки.

Почему этот образ оказался столь навязчивым, читатель, может быть, рассудит лучше меня.

*Джон Ле Карре, январь 2016 года*

## Вступление

Сию за столом в цоколе маленького швейцарского шале (я построил его на гонорары за “Шпиона, пришедшего с холода”) в горной деревне в полутора часах поездом до Берна, куда в шестнадцать лет я сбежал из английской частной школы, чтобы поступить в Бернский университет. По выходным мы, студенты, мальчишки и девчонки, в основном бернцы, большой оравой устремлялись в Оберланд – ночевать в горных хижинах и кататься на лыжах до упаду. Насколько я могу судить, все мы были воплощением добродетели: мальчишки в одной стороне, девчонки в другой и по двое никогда не сходились. А если кто и сходил, меня среди них не было.

Шале стоит над деревней. Из своего окна, если смотрю в самую вышину, вижу верхушки пиков Эйгер, Мёнх и Юнгфрау и те, что прекраснее всех, – Зильберхорн, а уступом ниже – Малый Зильберхорн: два прелестных ледяных конуса, что время от времени, когда приходит теплый южный ветер под названием фён, тускнеют, но лишь затем, чтоб через несколько дней вновь предстать в своем белоснежном, свадебном убранстве.

В числе наших святых-покровителей вездесущий композитор Мендельсон – маршрут прогулки Мендельсона отмечен особыми указателями, а также поэт Гёте, хотя он, кажется, добрался только до водопадов Лаутербруннена, и поэт Байрон, который добрался до самого Венгернальпа и невзлюбил его – заявил, что при виде наших истерзанных бурями лесов “вспоминает себя самого и свою семью”.

Но больше всех мы, несомненно, чтим другого святого-покровителя – некоего Эрнста Герча, который принес нашей деревне славу и достаток, учредив в 1930 году Лауберхорнские гонки, и сам же выиграл в соревновании по слалому. Однажды и я решил принять участие в этих гонках – совсем сдурил! – и непрофессионализм вкупе с диким страхом, как и следовало ожидать, привели меня к полному провалу. Мои изыскания показали, что, став отцом лыжных гонок, Эрнст не успокоился, но пошел дальше и придумал стальной кант для лыж и стальные платформы для креплений, и за это мы все можем сказать ему спасибо.

На дворе май, так что мы за неделю все времена года перевидали: вчера выпало полметра свежего снега, только радоваться было некому – лыжников-то нет; сегодня беспрепятственно палит солнце, и снег почти совсем исчез, а весенние цветы опять пошли в рост. Теперь же спустился вечер, и свинцовые тучи готовятся к наступлению на долину Лаутербруннен, словно наполеоновская *Grande Armée*<sup>1</sup>.

По их следам, вероятно, а может, потому что уж несколько дней не навещал нас (а мы и рады были), вернется фён и обесцветит небо, леса, луга, и домик мой станет скрипеть и трепыхаться, а дым – выползает из камина и стелиться по ковру, который мы однажды, в дождливый день бесснежной зимы какого-то там года, купили втроедорога в Интерлакене; и всякий звук, доносящийся из долины –брякнет что-то, загудит клаксон, – будет раздаваться сердитым протестующим возгласом, а птицам придется сидеть в гнезде, под домашним арестом, – всем, кроме галок: им никто не указ. Когда дует фён, не садись за руль, не предлагай руку и сердце. Если болит голова или руки чешутся прикончить соседа, будь спокоен. Это не похмелье, это фён.

В моей восьмидесятичетырехлетней жизни шале занимает место, совершенно не соответствующее своим размерам. В этой деревне я бывал еще до того, как его построил, мальчишкой – сперва катался здесь на лыжах, деревянных, из пекана или ясеня, с чехлами из тюленьей кожи для подъема и кожаными креплениями для спуска, а потом приезжал сюда и летом – гулять в горах с моим мудрым оксфордским наставником Вивианом Грином, кото-

---

<sup>1</sup> Великая армия (фр.).

рый позже сделался ректором Линкольн-колледжа и стал прототипом Джорджа Смайли – в духовном отношении.

Смайли, как Вивиан, обожал свои Швейцарские Альпы, или, опять же как Вивиан, находил отраду в созерцании природы, или, как сам я, всю жизнь сражался с немецкой музыкой, – и это не просто совпадение.

Я ворчал на своего беспутного папашу Ронни – Вивиан выслушивал, а когда Ронни очередной раз обанкротился, как-то особенно эффектно, нужную сумму раздобыл опять же Вивиан и вытащил меня обратно в колледж – доучиваться.

В Берне я познакомился с наследником одного из старейших семейств, владевших в Оберланде отелями. И если бы впоследствии он не использовал свое влияние, шале мне и вовсе строить не позволили бы, поскольку тогда, как и сейчас, ни один иностранец не мог приобрести в этой деревне и квадратного метра земли.

Там же, в Берне я начал сотрудничать с британской разведкой – делал первые, детские шаги на этом поприще, донося неизвестно что неизвестно кому. В последние дни я часто размышляю между делом, на что была бы похожа моя жизнь, если б я не удрал тогда из школы или удрал бы в каком-нибудь другом направлении. Только сейчас понимаю: все случившееся со мной потом было следствием импульсивного юношеского решения – бежать из Англии, выбрав самый скорый путь из возможных, чтоб стать приемным сыном немецкой музыки.

Не то чтобы в школе у меня не ладилось, напротив: я был капитаном всяческих команд, победителем школьных соревнований, потенциальным золотым мальчиком. И сбежал я спокойно. Без шума, без криков. Просто сказал: “Отец, делай со мной что хочешь, но я не вернусь”. Очень может быть, что во всех своих бедах я винил школу, а заодно и Англию, тогда как на самом-то деле мне хотелось любой ценой освободиться из-под власти отца, только едва ли я мог ему это сказать. С тех пор, конечно, мне уже приходилось наблюдать, как мои собственные дети проделывали то же самое, правда, изящнее и без лишней суматохи.

Но все это не дает ответа на главный вопрос: как развивалась бы моя жизнь при иных обстоятельствах? Не оказался я в Берне, завербовали бы меня, юношу, в британскую разведку в качестве мальчика на побегушках, который делает, как у нас говорили, “все понемножку”? Тогда я не прочел еще “Эшендена” Мозма, зато, разумеется, прочел “Кима” Киплинга и энное количество шовинистических приключенческих романов Джорджа Альфреда Хенти и ему подобных. Дорнфорд Йейтс, Джон Бакен и Райдер Хаггард навредить не могли.

Само собой, года четыре после окончания войны я был главным патриотом Британии в Северном полушарии. В подготовительной школе мы, мальчишки, научились вычислять немецких шпионов в своих рядах, и я считался одним из лучших агентов нашей контрразведки. В частной школе все мы были пламенными ура-патриотами. Дважды в неделю занимались “строевой” – то есть военной подготовкой в полном обмундировании. Молодые учителя вернулись с войны загорелыми и на строевой шеголяли орденовыми ленточками. Что делал на войне мой учитель немецкого, оставалось загадкой, но что-то ужасно интересное. Наш консультант по профориентации готовил нас к пожизненной службе на отдаленных форпостах империи. Аббатство в центре нашего городка украшали полковые знамена, разорванные пулями в лоскуты в битвах колониальных войн в Индии, Южной Африке и Судане – лоскуты, которым заботливые женские руки, нашив их на сетку, возвратили славу.

Совсем неудивительно поэтому, что, услышав Великий Зов – из уст дамы тридцати с чем-то лет по имени Венди, сотрудницы визового отдела британского посольства в Берне, больше похожей на домохозяйку, – семнадцатилетний английский школьник, решивший прыгнуть выше головы и поступить в иностранный университет, встал по стойке смирно и сказал: “К вашим услугам, мэм!”

Сложнее объяснить, почему я увлекся немецкой литературой – всей без разбора – во времена, когда для многих людей слово “немецкий” было синонимом абсолютного зла. А

между тем это увлечение, как и побег в Берн, определило весь мой дальнейший жизненный путь. Иначе я, конечно, не приехал бы в Германию в 1949 году по настоянию моего учителя немецкого – еврея-беженца, никогда не увидел бы города Рура, сровненные с землей, не подышал бы на старом вермахтовском матрасе в немецком полевом госпитале, устроенном в берлинском метро; не побывал бы в концлагерях Дахау и Берген-Бельзен, в бараках, откуда еще не выветрился смрад, чтобы затем вернуться в спокойный, безмятежный Берн к моим Томасу Манну и Герману Гессе. И конечно, меня не отправили бы служить в оккупированную Австрию и выполнять там разведзадачи, я не изучал бы немецкий язык и литературу в Оксфорде, а после не преподавал бы и то и другое в Итоне, не был бы назначен в британское посольство в Бонне под видом младшего дипломата и не писал бы романы на немецкие сюжеты.

Теперь мне вполне очевидны последствия этого раннего увлечения всем германским. Благодаря ему у меня появился свой участок эклектического пространства; оно подпитывало мой неизлечимый романтизм и склонность к лирике; оно внушило мне представление о том, что на пути от колыбели к могиле человек постоянно учится – идея едва ли оригинальная, а пожалуй, и спорная, ну и пусть. Познакомившись с драмами Гёте, Ленца, Шиллера, Клейста и Бюхнера, я обнаружил, что мне в равной степени близки и их классический аскетизм, и невротическая избыточность. Хитрость в том, думал я, чтобы замаскировать одно другим.

\* \* \*

Моему шале уже почти полвека. Дети, пока не выросли, приезжали сюда каждую зиму кататься на лыжах, и здесь мы провели лучшие дни вместе. Бывало, и весной приезжали. Сюда же, кажется, зимой 1967-го мы удалились на месяц с Сидни Поллаком (который снял “Тутси”, “Из Африки” и мое любимое – “Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?”), чтобы обстоятельно поработать над сценарием фильма по моему роману “В одном немецком городке”, и презабавно провели время.

Снег той зимой был отменный. Сидни никогда не катался на лыжах, никогда не бывал в Швейцарии. И просто не мог спокойно смотреть на довольных лыжников, с беспечным видом мчавшихся мимо нашего балкона. Он должен был стать одним из них, притом немедленно. Сидни хотел, чтобы я его научил, но я-то, слава богу, вместо этого позвал Мартина Эппа – лыжного инструктора, легендарного горного проводника и одного из тех немногих, кто совершил одиночное восхождение на Эйгер по северной стене.

Первоклассный режиссер из Саут-Бенда в Индиане и первоклассный альпинист из Арозы сразу поладили. Сидни ничего не делал вполсилы. За несколько дней он стал профессиональным лыжником. А еще загорелся идеей снять о Мартине Эппе фильм и вскоре уже больше думал о нем, чем об экранизации моего романа. Эйгер выступит в роли Судьбы. Я напишу сценарий, Мартин выступит в роли самого себя, а Сидни, пристегнутый где-нибудь на склоне Эйгера, будет его снимать. Он позвонил своему агенту и рассказал про Мартина. Позвонил своему психоаналитику и рассказал про Мартина. А снег по-прежнему был отличный и делал свое дело – отнимал у Сидни энергию. Мы решили, что работать лучше всего вечером, после ванны. Было оно лучше или нет, не знаю, только кино никто так и не снял.

Позже, к некоторому моему удивлению, Сидни на время предоставил шале Роберту Редфорду – тот готовился к съемкам “Скоростного спуска” и хотел изучить местность. Увы, с ним я так и не встретился, но после на несколько лет за мной в деревне закрепилась слава друга Роберта Редфорда.

\* \* \*

Это реальные истории, я рассказываю их по памяти, и тут вы вправе задать вопрос: что есть правда и что есть память для писателя, жизнь которого, деликатно выражаясь, клонится к закату? Для юриста правда – это голые факты. Можно ли в принципе такие факты отыскать – другой вопрос. Для писателя факт – это сырье, не руководитель, но инструмент, и дело писателя – сделать так, чтобы он заиграл. Истинная правда, если только она есть, заключена не в фактах, а в нюансах.

Существует ли вообще такая вещь, как *объективная* память? Сомневаюсь. Даже если мы убеждаем себя, что беспристрастны, придерживаемся голых фактов и ничего не приукрашиваем и не опускаем в своих корыстных интересах, объективная память неуловима, как мокрый кусок мыла. По крайней мере для меня, который всю жизнь смешивал пережитое и воображаемое.

Если мне казалось, что рассказ того заслуживает, я поднимал свои газетные статьи, написанные в то время, брал оттуда цитаты, описания – потому что они записаны по свежим следам и в этом их достоинство и потому, что более поздние воспоминания уже не так остры, – например, портрет Вадима Бакатина, бывшего главы КГБ. А в других случаях я оставлял рассказ почти таким, каким написал когда-то, только кое-где подчищал или добавлял пассаж, дабы что-то прояснить или осовременить.

Я вовсе не предполагаю, что читателю хорошо знакомо мое творчество или, если уж на то пошло, вообще знакомо, поэтому по ходу буду делать пояснения. Однако смею вас заверить: я не исказил сознательно ни одного события, ни одной истории. Утаил, где нужно было, это да. Но решительно ничего не искажал, нет. А если что-то помню нетвердо, не преминул это отметить. В недавно вышедшем моем жизнеописании парочка историй изложена вкратце, и мне, разумеется, приятно заявить на них свои права, рассказать своим голосом, вложить в них, насколько получится, свои эмоции.

Отдельные эпизоды теперь приобрели значение, которого в тот момент я им не придавал, – приобрели потому, вероятно, что главные фигуранты умерли. За свою долгую жизнь я никогда не вел дневника, сохранились только случайные путевые заметки или цитаты из невозстановимых уже бесед, относящиеся, например, к тому времени, что я провел с Ясиром Арафатом, председателем исполкома Организации освобождения Палестины, до его изгнания из Ливана, и к следующему моему неудачному визиту в его отель в Тунисе – том самом городе, где несколько военачальников Арафата, расквартированные в паре километров от него, погибли в результате налета израильских бомбардировщиков через неделю-другую после моего отъезда.

Люди, стоявшие у власти, привлекали меня именно потому, что были у власти, и потому, что я хотел понять их мотивы. Но теперь мне кажется, в их присутствии я только и делал, что кивал с умным видом, в нужный момент качал головой да раз-другой пробовал шутить, чтобы разрядить обстановку. Потом только, вернувшись в свой номер и улегшись на кровать, я доставал измятый блокнот и пытался осмыслить все, что увидел и услышал.

Другие сделанные наспех записи, уцелевшие после моих путешествий, в основном принадлежат не мне лично, а вымышленным персонажам, которых я брал с собой для самозащиты, когда осмеливался выйти на поле боя. Это их точка зрения, не моя, их слова. Когда я сидел, скорчившись, в блиндаже у Меконга и впервые в жизни слышал, как пули шмякаются в илистый берег над моей головой, не моя дрожащая рука гневно строчила в грязной записной книжке, а рука моего отважного персонажа – героя-военкора Джерри Уэстерби, который работал на передовой и для которого обстрел был частью трудовых будней. Я думал, что один использую такую уловку, пока не познакомился со знаменитым военным фотографом,

который признался, что избавляется от страха, только когда видит происходящее через объектив фотоаппарата.

Я-то и вообще никогда не мог избавиться от страха. Но понимаю, о чем говорил этот фотограф.

\* \* \*

Если вы удачливый писатель и рано добились успеха, как случилось у меня со “Шпионом, пришедшим с холода”, вся оставшаяся жизнь разделится на до и после – до и после грехопадения. Обращаешься к книгам, написанным до того, как луч прожектора выхватил тебя из темноты, и они выглядят невинными творениями, а книги, написанные после, в минуту уныния кажутся попыткой подсудимого оправдаться. “Слишком старался!” – восклицают критики. Никогда не думал, что стараюсь слишком. Рассуждал так: раз добился успеха, то обязан делать все, на что только способен, и в общем-то делал, а уж хорошо или плохо делал – не знаю.

К тому же я люблю писать. Люблю заниматься тем, чем сейчас занимаюсь: сидеть строчить за обшарпанным письменным столом, как какой-нибудь подпольный автор, ранним майским утром, когда небо затянуто черными тучами, а дождь, пришедший с гор, заливаает стекла и нет никаких причин брать зонт и тащиться на станцию, ведь международная “Нью-Йорк таймс” придет только к обеду.

Люблю писать на ходу, в блокноте во время прогулки, в поезде, в кафе, а после поспешно нести свои трофеи домой и выбирать из них лучшие. Когда бываю в Хэмпстеде, прихожу на Пустошь, к своей любимой скамейке, приткнувшейся под раскидистым деревом, поодаль от остальных, сажусь на нее и строчу. Всегда пишу только от руки. Быть может, есть в этом высокомерие, но я предпочитаю следовать многовековой традиции немашинного письма. Во мне погиб художник-график, которому доставляет истинное удовольствие выводить слова.

Больше всего в этом занятии – писать тексты – мне нравится его сокровенность, поэтому я не участвую в литературных фестивалях и стараюсь по возможности не давать интервью, даже если факты говорят об обратном. Иногда, обычно по ночам, я думаю, что лучше бы вообще никогда не давал интервью. Сначала выдумываешь что-то про себя, потом начинаешь верить собственным выдумкам. А это не имеет никакого отношения к самопознанию.

Когда еду куда-нибудь в поисках материала, чувствую себя более-менее защищенным, ведь настоящее имя у меня другое. Могу поселиться в отеле под этим именем и не беспокоиться, узнают его или нет, а если нет, не беспокоиться, отчего не узнали. Когда я вынужден признаваться, что не просто так расспрашиваю их о жизни, а в общем-то выуживаю информацию, люди реагируют по-разному. Один и словечка мне больше не скажет, другой сразу произведет в начальники секретной службы, а начнешь возражать – я, мол, всегда был лишь простейшей формой засекреченной жизни, – ответит, что так ведь мне и следует говорить. И продолжит потчевать меня конфиденциальной информацией – которой я не прошу, не смогу использовать да и не запомню, – ошибочно предполагая, что я передам ее Известно Кому. Пару случаев, когда мне пришлось столкнуться с такой трагикомической дилеммой, я описал.

Но большинство несчастных, которых я донимал подобными разговорами последние пятьдесят лет – а среди них менеджеры среднего звена фармацевтической индустрии и банкиры, наемники и шпионы всех мастей, – относились ко мне терпеливо и великодушно. Самыми великодушными оказались военные репортеры и иностранные корреспонденты,

которые брали писателя-паразита под свое крыло, отдавая должное смелости, вовсе ему не свойственной, и позволяли ходить за ними по пятам.

Ума не приложу, как бы я совершал вылазки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток без совета и дружеского плеча Дэвида Гринуэя, весьма заслуженного корреспондента “Тайм”, “Вашингтон пост” и “Бостон глоб” в Юго-Восточной Азии. Ни одному робкому новичку, наверное, не удавалось дотянуться до такой звезды, да еще найти в ней преданного друга. Снежным утром 1975-го Дэвид сидел за завтраком здесь, в моем шале, наслаждался короткой передышкой вдали от передовой, и тут ему позвонили из вашингтонской редакции и сообщили, что осажденный Пномпень вот-вот возьмут красные кхмеры. Дороги из нашей деревни в долину нет, отсюда ходит только маленький поезд, с которого можно пересест на поезд побольше, а с того – на другой, еще больше, и этот последний уже довезет вас до аэропорта Цюриха. Дэвид моментально сменил альпийский наряд на поношенный костюм военкора – хаки и старые замшевые туфли, поцеловал на прощание свою жену и дочерей и помчался вниз с холма к станции. А я с его паспортом помчался следом.

Как известно, Гринуэй был одним из последних американских журналистов, эвакуированных вертолетом с крыши здания посольства США в Пномпене. В 1981-м мы вместе переходили мост Алленби<sup>2</sup>, соединяющий Западный берег реки Иордан с Иорданией, а я тогда подхватил дизентерию, и Гринуэй буквально на руках тащил меня через толпу нетерпеливых путешественников, ожидавших, когда их пропустят, потом добился на блокпосту – исключительно благодаря своему самообладанию, – чтобы пропустили нас, и доставил меня на другой берег.

Перечитывая отдельные эпизоды, я вижу: я то ли из эгоизма, то ли ради большего эффекта упомянул не всех действующих лиц.

Например, во время нашей встречи с русским физиком, политическим заключенным Андреем Сахаровым и его женой Еленой Боннэр в ресторане города Ленинграда (так он тогда еще назывался), проходившей под эгидой “Хьюман Райтс Вотч”, с нами за столом сидели и трое представителей этой организации и тоже вынуждены были терпеть ребячливую бесцеремонность группы липовых корреспондентов, а на самом деле сотрудников КГБ, что маршировали вокруг нас и обстреливали из допотопных фотоаппаратов, ослепляя вспышками. Надеюсь, кто-то еще из нашей компании описал где-нибудь этот исторический день.

Вспоминаю, как однажды Николас Эллиот, старинный друг и коллега двойного агента Кима Филби, со стаканчиком бренди в руке мерил шагами гостиную нашего лондонского дома, и только теперь мне приходит в голову, что там ведь вместе со мной сидела моя жена – в кресле напротив – и вместе со мной слушала будто завороченная.

А еще вспоминаю – прямо сейчас, пока пишу эти строки, тот вечер, когда Эллиот пришел к нам на ужин со своей женой Элизабет, а в гостях у нас был очень милый человек, иранец, который безупречно говорил по-английски, но имел небольшой и даже приятный речевой дефект. Когда наш иранский гость уехал, Элизабет повернулась к Николасу – глаза ее сверкали – и сказала взволнованно:

– Дорогой, ты заметил, как он заикается? Ну точно Ким!

Большую главу о моем отце Ронни я поместил в конец книги, а не в начало, потому что не хочу, чтобы он, растолкав других локтями, оказался в первых рядах, хотя он бы так и сделал. Долгое время я мучительно размышлял о нем, однако он по-прежнему остается для меня загадкой, равно как и моя мать. Рассказы в этой книге новенькие и впервые увидят свет, если не указано иное. Я менял имена, когда считал необходимым. Даже если главный фигурант умер, у него есть наследники и правопреемники, а они ведь могут и не понять

---

<sup>2</sup> Также: мост короля Хусейна.

юмора. Я попытался проложить через свою жизнь дорогу, соблюдая если не хронологический, то хотя бы тематический порядок, но подобно самой жизни эта дорога разрослась в нечто беспорядочное, и некоторые истории стали тем, чем и остаются для меня по сей день: отдельными, самодостаточными сюжетами, не имевшими продолжения – во всяком случае известного мне, а рассказал я их потому, что они приобрели для меня особое значение, и потому, что они тревожат меня, или пугают, или трогают, или заставляют просыпаться среди ночи и смеяться в голос.

Некоторые описанные мной встречи по прошествии времени приобрели особый статус: они представляются мне крошечными частицами истории – истории, пойманной *in flagrante*<sup>3</sup>, но так, вероятно, представляется всем пожилым людям. Когда перечитываю их от начала до конца – от фарса к трагедии и обратно, они кажутся мне чуть-чуть легкомысленными, даже не знаю почему. А может, мне кажется легкомысленной собственная жизнь. Но теперь уж с этим ничего не поделаешь.

\* \* \*

О многом мне вообще не хотелось бы писать, и такое найдется в жизни каждого человека. У меня было две жены, обе верные и безмерно мне преданные, и я обязан выразить им обоим бесконечную благодарность и принести немало извинений. Я никогда не был образцовым мужем и отцом и вовсе не хочу таким казаться. Любовь пришла ко мне поздно, прежде я успел наделать много ошибок. Уроки этики мне преподали четверо моих сыновей, и этим я им обязан. О своей работе в британской разведке, проходившей в основном на территории Германии, не хочу ничего добавлять к сообщениям других – надо сказать, неточным, – которые можно найти в иных источниках. Здесь я связан узами рудиментарной, старомодной преданности обоим моим бывшим службам и, кроме того, обещаниями, данными мужчинам и женщинам, согласившимся со мной сотрудничать. Мы условились, что клятва хранить тайну не будет иметь срока действия, но распространится на поколение наших детей и дальше. Нашу работу не назовешь опасной или захватывающей, однако если ты ее выбрал, мучительное самокопание тебе обеспечено. Независимо от того, живы эти люди или умерли, обещание хранить тайну остается в силе.

Шпионаж был моей судьбой от рождения – полагаю, примерно так же, как для Сесила Скотта Форестера судьбой было море, а для Пола Скотта – Индия. Секретный мир, с которым мне довелось познакомиться, я пробую превратить в театр для другого, большого мира, где мы живем. Начинаю с воображаемого, потом подбираю факты. А затем опять возвращаюсь к воображаемому и к письменному столу, за которым сейчас сижу.

---

<sup>3</sup> С поличным (*лат.*).

## Глава 1

### К своей спецслужбе относись по-людски

– Я знаю, кто ты! – орет Дэнис Хили, бывший министр обороны Великобритании от лейбористской партии (дело происходит на частной вечеринке, куда нас обоих пригласили, и Дэнис пробирается ко мне от дверей и протягивает руки). – Коммунистический шпион, вот кто! Сознайся!

Я и сознаюсь, ведь в такой ситуации хорошие парни во всем сознаются. А окружающие, в том числе слегка встревоженный хозяин вечеринки, хохочут. Я тоже хохочу, потому что хороший парень и шутки понимаю не хуже других, а еще потому, что Дэнис Хили, может, и монстр лейбористской партии и политический скандалист, но еще он видный ученый, гуманист, я им восхищаюсь и к тому же он на пару стаканчиков меня опередил.

– Скотина ты, Корнуэлл! – вопит мне через всю комнату мужчина средних лет, офицер МИ-6 и мой бывший коллега, а группа вашингтонских инсайдеров тем временем собирается на дипломатический прием, организованный британским послом. – Скотина чистокровная!

Он не ожидал встретить меня здесь, но, встретив, обрадовался, ведь теперь-то может высказать все, что думает обо мне, опорочившем доброе имя нашей Службы – нашей проклятой Службы, будь она проклята! – и выставившем дураками мужчин и женщин, которые любят свою страну и не могут мне ответить. Он стоит передо мной, набычился, кажется, готов уже на меня броситься, и если бы чья-то дипломатичная рука не придержала его, заставив отступить на шаг, на следующий день газетчики повеселились бы как следует.

Болтовня за коктейлями постепенно возобновляется. Но прежде я выясняю, какая именно книга засела у него в печенках: не “Шпион, пришедший с холода”, а последовавшая за ней “Война в Зазеркалье” – мрачная повесть о британско-польском агенте, которого послали на задание в Восточную Германию да там и бросили погибать. К несчастью, во времена, когда мы вместе работали, Восточная Германия относилась к епархии моего обвинителя. Я подумал, не рассказать ли ему про недавно ушедшего в отставку директора ЦРУ Аллена Даллеса, заявившего, что эта книга намного правдивей своей предшественницы, но побоялся еще больше распалить бывшего сослуживца.

– Мы, значит, безжалостные? Безжалостные, да к тому же профаны! Премного благодарен!

Мой разъяренный экс-коллега не одинок. Вот уже пятьдесят лет, хоть и не столь запальчиво, меня снова и снова упрекают в том же самом – это не сговор и не угроза, это рефреном звучат голоса уязвленных мужчин и женщин, полагающих, что их работа и вправду необходима.

– Зачем ты к нам цепляешься? Сам же знаешь, что у нас и как.

А иные язвят:

– Ну что, нажился на нас? Теперь, может, оставишь на время в покое?

И кто-нибудь обязательно напомнит жалобно, что Служба ведь ничем не может ответить, что перед антипропагандой она беззащитна, что ее успехам надлежит оставаться безвестными, а прославиться она может только своими провалами.

– Разумеется, мы вовсе не такие, как описывает наш общий друг, – строго сообщает за обедом Морис Олдфилд сэру Алеку Гиннессу.

Олдфилд – бывший глава британской разведки, в свое время брошенный Маргарет Тэтчер на произвол судьбы, но к моменту встречи, о которой идет речь, он всего лишь старый разведчик в отставке.

– всю жизнь мечтал познакомиться с сэром Алеком, – задушевно сообщил мне Олдфилд на своем североанглийском диалекте, когда я пригласил его на обед. – С тех пор как мы вместе в поезде из Винчестера ехали – я напротив сидел. И заговорил бы с ним тогда, да духу не хватило.

Гиннесс будет играть моего Джорджа Смайли, секретного агента, в экранизации романа “Шпион, выйди вон!”, которую снимает Би-би-си, и хочет испробовать, каково это – пообщаться с настоящим старым разведчиком. Но вопреки моим надеждам обед проходит не слишком гладко. За закусками Олдфилд принимается рассказывать, сколь безупречна в этическом смысле Служба, где он работал, и намекать в самой деликатной манере, что “наш юный Дэвид” опорочил ее доброе имя. Гиннессу, бывшему морскому офицеру, который, едва познакомившись с Олдфилдом, сразу обосновался в высших эшелонах разведки, остается только глубокомысленно качать головой и соглашаться. За камбалой Олдфилд развивает свое утверждение:

– Это из-за юного Дэвида и таких, как он, – объявляет Олдфилд, игнорируя меня, сидящего рядом, Гиннессу, сидящему напротив, – Службе все труднее вербовать достойных сотрудников и информаторов. Книжки Дэвида отвращают людей от такой работы. Что вполне естественно.

Гиннесс в ответ прикрывает глаза и качает головой в знак сожаления, а я тем временем плачу по счёту.

– Вам нужно вступить в “Атенеум”<sup>4</sup>, Дэвид, – говорит Олдфилд мягко, намекая, видимо, что “Атенеум” каким-то образом поможет мне стать лучше. – Я лично буду вас рекомендовать. Вот так. Вам ведь этого хотелось бы, правда?

А потом, когда мы втроем уже стоим на пороге ресторана, Гиннессу:

– Я очень рад, Алек. Признаться, даже польщен. Мы непременно побеседуем снова в самом скором времени.

– Непременно побеседуем, – воодушевленно соглашается Гиннесс, и два старых разведчика жмут друг другу руки.

Очевидно, не успев насладиться обществом нашего уходящего гостя, Гиннесс увлеченно следит, как Олдфилд – маленький, энергичный, целеустремленный джентльмен – тяжелой поступью шагает по мостовой, а затем, выставив вперед зонт, скрывается в толпе.

– Может, по рюмочке коньяку на дорожку? – предлагает Гиннесс и, едва мы успеваем снова сесть за стол, начинает допрос:

– Эти безвкусные запонки. Что, все наши разведчики такие носят?

Нет, Алек, наверное, Морису просто нравятся безвкусные запонки.

– А кричащие рыжие ботинки из замши на каучуковой подошве? Для того чтобы ходить бесшумно?

Наверное, просто для удобства, Алек. Вообще-то каучуковая подошва скрипит.

– И вот еще что мне скажите. – Он хватает пустой стакан, наклоняет и постукивает по нему кончиком пухлого пальца. – Я видел, когда делают так. (Сэр Алек разыгрывает маленький спектакль – пристально и задумчиво глядит в стакан, продолжая по нему постукивать.) – Видел, когда делают так. (Теперь он водит пальцем по краю бокала все с тем же отрешенным видом.) – Но чтобы делали вот так, вижу впервые. (Он засовывает палец в стакан и проводит по внутренней стенке.) – Как вы думаете, Олдфилд искал следы яда?

Он это серьезно? Сидящий внутри Гиннесса ребенок серьезен как никогда. Я намекаю, что Олдфилд, получается, искал следы яда, который уже выпил. Но Алек предпочитает не обращать внимания на мои слова.

---

<sup>4</sup> Лондонский клуб для интеллектуальной элиты.

Замшевые ботинки Олдфилда, на каучуковой подошве или какой другой, и сложенный зонт, который он выставлял вперед, прощупывая перед собой дорогу, вошли в историю индустрии развлечений, став неотъемлемыми атрибутами гиннессовского Джорджа Смайли – старого, вечно спешащего разведчика. Насчет запонок теперь уже не знаю, но нашему режиссеру, помню, они казались слегка карикатурными, и он уговаривал Гиннесса поменять их на что-нибудь поскромнее.

Другое последствие нашего совместного обеда оказалось менее приятным, хотя и более продуктивным в художественном плане. Неприязнь, которую Олдфилд питал к моему творчеству – да и ко мне лично, полагаю, – пустила глубокие корни в сердце актера Гиннесса, и он не погнушался напомнить мне об этом, когда почувствовал необходимость показать растущее в душе Джорджа Смайли чувство стыда, намекая, что такое же чувство должен испытывать и я сам.

\* \* \*

Вот уже сто лет, а то и больше наших британских разведчиков и строптивых авторов шпионских романов связывают драматические, а порой забавные отношения – они друг друга любят и ненавидят. Как и авторам, разведчикам нужен имидж, романтический образ, однако терпеть насмешки они не намерены – ни от Эрскина Чайлдерса и Уильяма Ле Ке, ни от Эдварда Филлипса Оппенгейма, которые возбудили такую антигерманскую истерию, что вполне могут причислить себя к тем, кто прежде всего способствовал появлению на свет постоянно действующей службы безопасности. До этого одни джентльмены якобы не читали писем других джентльменов, пусть даже на самом деле многие джентльмены очень даже читали. В годы Первой мировой зазвучало имя Сомерсета Моэма – писателя и агента британской разведки – не лучшего, согласно большинству оценок. Когда Уинстон Черчилль заявил, что, написав “Эшендена”, Моэм нарушил закон о государственной тайне<sup>5</sup>, и выразил неудовольствие по этому поводу, тот, опасаясь уже готового разразиться гомосексуального скандала, сжег 14 неопубликованных рассказов и отложил публикацию остальных до 1928 года.

Писателя и биографа Комптона Маккензи, шотландского националиста, запугать было не так просто. Во время Первой мировой войны его комиссовали из армии, перевели в МИ-6, и Маккензи стал начальником – компетентным, надо сказать, – британской контрразведки в сохранявшей нейтралитет Греции. Однако начальство и его приказы частенько казались ему нелепыми, и Комптон, по писательскому обыкновению, их высмеивал. В 1932-м его осудили за нарушение государственной тайны и оштрафовали на 100 фунтов стерлингов – за публикацию автобиографической книги “Греческие мемуары”, в которой Маккензи и в самом деле слишком много себе позволил. Однако эта история ничему его не научила, и через год Маккензи отомстил, опубликовав свою сатиру “Разжижение мозгов”. Я слышал, что в досье Маккензи в МИ-5 имеется среди прочего набранное огромным шрифтом письмо, адресованное генеральному директору службы безопасности и подписанное ручкой с зелеными чернилами, которую традиционно использовал глава секретной службы.

“Хуже всего, – пишет он своему собрату по оружию на другой стороне Сент-Джеймского парка, – что Маккензи раскрыл настоящие шифры, используемые сотрудниками секретной службы в переписке<sup>6</sup>, а некоторые из них используются до сих пор”. Довольный прирзак Маккензи, наверное, потирал руки.

---

<sup>5</sup> Источник: “Секретная служба” (*Secret Service*) Кристофера Эндрю, вышедшая в 1985 году в издательстве Уильяма Хейнемана (*Прим. автора*).

<sup>6</sup> Письма эти обычно начинались с трехбуквенного шифра, обозначавшего подразделение МИ-6, затем следовал номер,

Но самый смелый писатель-перебежчик из МИ-6, само собой, Грэм Грин – я, правда, не знаю, догадывался ли он, как близок был к тому, чтобы предстать перед судом Олд-Бейли<sup>7</sup> следом за Маккензи. Одно из самых заветных моих воспоминаний, относящееся к концу 50-х годов, – как мы встретились за чашечкой кофе в первоклассном буфете штаб-квартиры секретной службы с одним из юристов МИ-5. Он был добрый малый, курил трубку и походил скорее на семейного стряпчего, чем на чиновника, но в то утро выглядел весьма встревоженным. К этому юристу на стол попал сигнальный экземпляр “Нашего человека в Гаване”, и он уже дочитал роман до середины. Когда я сказал, что ему повезло и я ему завидую, он вздохнул и покачал головой. Этого Грина, говорит, должны судить. Он использовал информацию, которой владел, будучи в военное время офицером МИ-6, и в точности описал, как глава резидентуры в британском посольстве контактирует с полевым агентом. Грина следовало бы посадить в тюрьму.

– И главное, книга хорошая, – сетовал он. – Чертовски хорошая книга. Вот ведь в чем беда.

Я шерстил газеты – искал новость об аресте Грина, но он гулял себе на свободе. Может, тузы МИ-5 подумали и решили, что смеяться тут лучше, чем плакать. За этот акт милосердия Грин отблагодарил их через двадцать лет, изобразив в своем “Человеческом факторе” уже не просто болванами, а убийцами. Но предупредительный выстрел МИ-6, видимо, все же сделала. В предисловии к “Человеческому фактору” Грин осмотрительно уверяет нас, что закона о государственной тайне не нарушал. Если сможете раздобыть один из ранних экземпляров “Нашего человека в Гаване”, найдете там такое же заявление об отказе от ответственности.

История, однако, показывает, что наши грехи в конце концов прощены. Маккензи окончил свои дни рыцарем, Грин – кавалером ордена “За заслуги”.

– Сэр, в вашем новом романе один человек говорит о главном герое, что он не стал бы предателем, если б умел писать. Скажите, пожалуйста, кем бы стали *вы*, если бы не умели писать? – спрашивает меня серьезный американский журналист.

Размышляя, как бы поосторожней ответить на этот опасный вопрос, я думаю одновременно, а не должны ли, если уж на то пошло, наши секретные службы быть благодарны писателям-перебежчикам? По сравнению с адом крошечным, который мы могли бы устроить другим способом, наши сочинения безобидны, как игра в кубики. Бедные шпионы, которым теперь не дают покоя, наверное, думают, что уж лучше бы Эдвард Сноуден написал роман.

\* \* \*

Так что я должен был ответить тогда, на дипломатической вечеринке, своему взбешенному экс-коллеге, который еще чуть-чуть и уложил бы меня на пол? Без толку напоминать, что в некоторых книгах я изобразил британское разведуправление более компетентной организацией, чем мне когда-либо приходилось видеть на самом деле. Или что один из самых высокопоставленных его офицеров так отозвался о “Шпионе, пришедшем с холода”: “За всю историю это, черт возьми, единственная удачная операция с двойным агентом”. Или, что, описывая в романе, так его рассердившем, ушедшие в прошлое военные игры обособленного британского ведомства, я, вероятно, преследовал несколько более серьезные цели, нежели грубо оскорбить его Службу. И упаси меня бог, вздумай я утверждать, что, если уж писатель взялся за такое нелегкое дело – изучать характер нации, может, ему как раз следует

---

указывавший на сотрудника подразделения (Прим. автора).

<sup>7</sup> Центральный уголовный суд в Лондоне.

обратить внимание на национальные спецслужбы. Я б и двух слов не успел сказать, как уже лежал бы на полу.

А насчет того, что Служба не может мне ответить, я, наверное, так скажу, и вряд ли ошибусь: ни в одном другом западном государстве пресса так не нянчится с разведчиками, как у нас. Наша система цензуры – добровольной ли или предписанной туманными и слишком суровыми законами, – наше умение обзаводиться друзьями и коллективная британская покорность тотальному надзору, который обеспечивают двусмысленные требования законодательства, – наверное, предмет зависти шпионов всех стран свободного и несвободного мира.

Без толку говорить и о многочисленных “одобренных” мемуарах бывших работников Службы, где она предстает в таком обличье, которое скорее всего вызовет восхищение; или об “официальных историях”, где самые чудовищные ее преступления снисходительно завуалированы; или о бесконечных статьях в отечественных газетах, состряпанных после обедов, гораздо более приятных, чем тот, за которым я наслаждался обществом Мориса Олдфилда.

Или, может, вот о чем намекнуть моему разгневанному приятелю: писатель, показывая, что профессиональные разведчики всего лишь люди и, как все остальные, не застрахованы от ошибок, оказывает обществу скромную услугу и даже действует во благо демократии, да поможет нам бог, ведь в Британии спецслужбы и по сей день, как бы там ни было, остаются колыбелью нашей политической, социальной и экономической элиты?

Вот на этом, дорогой мой бывший коллега, и заканчивается мое вероломство. И на этом, дорогой лорд Хили, ныне покойный, заканчиваются мои коммунистические идеи, чего, между прочим, нельзя было сказать о вас в дни вашей молодости. Сейчас, по прошествии полувека, трудно передать атмосферу недоверия, царившую в конце пятидесятых – начале шестидесятых в коридорах Уайтхолла, где вершились секретные дела. Когда в 1956-м меня официально зачислили в МИ-5 младшим офицером, мне было двадцать пять. Сказали, будь я хоть немного моложе, не подошел бы. “Пятерка”, как мы ее называли, считала себя зрелой организацией и гордилась этим. Увы, никакая зрелость не помогла ей избежать вербовки таких знаменитостей, как Гай Бёрджесс и Энтони Блант, и других отчаянных предателей того времени, чьи имена остаются в памяти британцев подобно именам известных некогда футболистов.

От работы в Службе я ожидал многого. До сих пор мои шпионские подвиги были весьма скромны, но я успел войти во вкус. Мои офицеры-кураторы все как один оказались людьми приятными, опытными и деликатными. Благодаря им я задумался о призвании, вспомнил забытое со школьных времен чувство, что я должен стараться. Будучи офицером британской разведки в Австрии, я благоговел перед загадочными гражданскими, время от времени посещавшими наш лагерь в Граце и придававшими этому скучнейшему месту таинственность, которой во все остальное время ему, увы, не доставало. Только попав в цитадель, откуда они приходили, я спустился – нет, шлепнулся – с небес на землю.

Шпионить за пришедшей в упадок Коммунистической партией числом 25 тысяч человек – ее МИ-5 нужно было охватить сетью осведомителей – мне не хотелось, это не соответствовало моим амбициям. То же касается и двойных стандартов, использовавшихся Службой для подпитки амбиций собственных. МИ-5 так или иначе выступала моральным арбитром частной жизни британских госслужащих и научных работников. В результате проверок, проводившихся в то время, было установлено, что гомосексуалы и другие люди с выявленными отклонениями легко поддаются шантажу, следовательно, их отстраняли от секретной работы. При этом Служба, кажется, спокойно игнорировала гомосексуалов в своих рядах, а сам генеральный директор открыто жил со своей секретаршей – на неделе, а по выходным – с женой; дошло даже до того, что он оставлял письменные инструкции ночному дежурному на случай, если позвонит жена и поинтересуется, где он. Но боже упаси

машинистку из канцелярии надеть юбку, которая покажется кому-нибудь слишком короткой, слишком узкой, а женатого референта – пялиться на эту машинистку.

Если в высших эшелонах Службы сидели дряхлеющие ветераны Второй мировой, то средний слой составляли бывшие солдаты колониальной полиции и окружные офицеры, в съездившейся Британской империи оставшиеся не у дел. Может, усмирять непокорных туземцев, у которых хватило дерзости отвоевывать собственную страну, они и умели, однако, когда понадобилось охранять родину, которую они едва знали, им пришлось трудновато. Британский рабочий класс казался им столь же непредсказуемым и непостижимым, как когда-то – бунтующие дервиши. А профсоюзы – не чем иным, как прикрытием для коммунистов.

В то же время юным контрразведчикам вроде меня, жаждавшим добычи посерьезней, было приказано не тратить время на поиски тайных агентов, работающих на Советский Союз, поскольку из авторитетного источника стало доподлинно известно, что на британской земле таких агентов нет. Кому известно, от кого известно, я так и не узнал. Четырех лет мне хватило. В 1960-м я подал заявление о переводе в МИ-6 или, как выразился мой недовольный работодатель, “к этим подонкам на той стороне парка”.

Но позвольте мне на прощание выразить МИ-5 признательность, ведь я перед ней в долгу, который никогда не смогу уплатить сполна. Самые суровые уроки писательского мастерства в жизни мне преподал не школьный учитель, не университетский преподаватель и уж точно не мастер на писательских курсах. А преподали начальники управлений МИ-5, сидевшие на Керзон-стрит в Мэйфэре, старшие офицеры – люди с классическим образованием, которые с педантическим удовольствием копались в моих отчетах, отпускали массу презрительных замечаний насчет неверных согласований и неуместных наречий и оставляли на полях моих бессмертных произведений пометки примерно такого содержания: *излишний – пренебрег – извиняет – неопрятный – вы это серьезно?* В жизни не встречал редакторов столь требовательных и столь справедливых.

К весне 1961-го я окончил в МИ-6 подготовительные курсы, где овладел навыками, ни разу мне не пригодившимися и тут же забытыми. Во время заключительной церемонии начальник учебного отдела Службы, ветеран с суровым лицом, краснея, со слезами на глазах сообщил, чтобы мы можем идти домой и ждать дальнейших указаний. Возможно, они поступят не сразу. И вот по какой причине (мне никогда бы и во сне не приснилось, провозгласил он, что придется однажды такое объявить): один из офицеров, уже давным-давно работавший в Службе и пользовавшийся безграничным доверием, разоблачен – он оказался советским двойным агентом. Звали его Джордж Блейк.

Масштабы предательства Блейка колоссальны даже по меркам того времени: он выдал сотни – буквально – британских агентов (Блейк уже сам потерял им счет); провалил несколько тайных операций, связанных с прослушкой и считавшихся чрезвычайно важными для национальной безопасности (например, операцию с берлинским тоннелем<sup>8</sup>, но не только), еще до их начала, а также сдавал сотрудников, явки, информацию о составе и дислокации подразделений и форпостов МИ-6 по всему земному шару. А еще Блейк, которого обе стороны считали самым искусным оперативным сотрудником, искал Бога и ко времени разоблачения успел побыть христианином, иудеем и коммунистом – именно в таком порядке. Находясь в заключении в Уормвуд-Скрабс, откуда позже он, как известно, сбежал, Блейк обучал сокамерников читать Коран.

Через два года после того, как поступили столь тревожные известия об измене Джорджа Блейка, я служил вторым секретарем (по политическим вопросам) в посольстве Велико-

---

<sup>8</sup> Совместная операция ЦРУ и британской разведки по прокладке подземного туннеля из Западного Берлина на территорию Восточного Берлина для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба советских войск в Германии.

британии в Бонне. Однажды поздно вечером глава резидентуры вызвал меня в свой кабинет и строго конфиденциально сообщил о том, что на следующий день в вечерней газете прочтет каждый англичанин: Ким Филби, некогда выдающийся начальник контрразведки МИ-6, которого однажды даже рекомендовали на пост главы Службы, тоже русский шпион и – но об этом нам позволено было узнать только со временем – завербован русскими с 1937 года.

В этой книге вы прочтете рассказ Николаса Эллиота, друга, коллеги и соратника Филби в мирное время и на войне, об их последней встрече в Бейруте, когда Филби частично признал свою вину. Вам можете показаться странным, что в словах Эллиота почти не слышно гнева или хотя бы возмущения. Все очень просто. Разведчики не полицейские, и здравыми в вопросах морали их тоже не назовешь, что бы они там о себе ни думали. Если твоя задача – вербовать предателей и использовать их в своих целях, вряд ли ты будешь сетовать, когда окажется, что и кого-то из твоих в свою очередь переманили, пусть даже ты любил его как брата, ценил как коллегу и посвящал во все детали своей секретной работы. Когда я писал “Шпиона, пришедшего с холода”, то этот урок уже усвоил. А когда стал писать “Шпион, выйди вон!”, угрюмая звезда Кима Филби освещала мне дорогу.

Шпионаж и писательский труд идут рука об руку. И для того и для другого нужен наметанный глаз, который видит человеческие проступки и множество путей, ведущих к предательству. Кому довелось побывать внутри секретного шатра, тот никогда уже из него не выйдет. И если до этого ты не имел привычек его обитателей, теперь усвоишь их навсегда. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить Грэма Грина и анекдот о том, как он затеял лисьи игры с ФБР, а на самом деле сам с собой. Наверное, какой-нибудь из его неучтивых биографов об этом написал, но лучше не проверять.

Под конец жизни писатель и бывший шпион Грин решил, что попал в черный список ФБР как приверженец коммунистических взглядов и провокатор. И в общем-то имел на то причины, он ведь неоднократно приезжал в Советский Союз, оставался верным своему другу и коллеге – шпиону Киму Филби и не скрывал этого, а еще пытался, но тщетно, увязать идеи католицизма и коммунизма. Когда возвели Берлинскую стену, он сфотографировался не с той ее стороны и заявил всему миру, что предпочел бы быть там, а не здесь. Грин до того не любил Соединенные Штаты и в то же время боялся реакции на свои радикальные высказывания, что с американским издателем соглашался встречаться только на канадской территории.

Но однажды настал день, когда ему наконец разрешили взглянуть на свое досье в ФБР. Там была только одна запись: о том, что он водил знакомство с политически неблагонадежной британской балериной Марго Фонтейн в то время, когда она боролась за обреченное на провал дело своего разбитого параличом и неверного мужа Роберто Ариаса.

Скрытности меня научил не шпионаж. Изворотливость и хитрость были мне присущи еще в детстве как необходимые средства самозащиты. В юности все мы в некотором роде шпионы, но я-то в этом деле был уже ветераном. И когда секретный мир призвал меня, я почувствовал, что возвращаюсь домой. А почему это так, лучше расскажу в одной из последних глав под названием “Сын отца автора”.

## Глава 2

### Законы доктора Глобке

Проклятый Бонн – так в начале шестидесятых мы, молодые британские дипломаты, называли этот город – не потому, что как-то особенно презирали сонный рейнландский курорт, резиденцию курфюрстов Священной Римской империи и родину Людвиг ван Бетховена, а просто чтобы шутя уважить наших хозяев, лелеявших абсурдные мечты о переносе столицы Германии дальше к северу, в Берлин, чего, как они думали – и мы охотно с ними соглашались, – уж конечно никогда не случится.

В 1961-м в британском посольстве, расположенном в уродливом производственном здании, растянувшемся вдоль автострады между Бонном и Бад-Годесбергом, числилось три тысячи душ – внушительная цифра; большинство из них, правда, больше работали на родине, нежели в Германии. До сих пор не имею представления, что делали остальные сотрудники в душном Рейнланде. В моей же судьбе за три года, проведенных в Бонне, произошли радикальные перемены: я считаю этот город местом, где моя прошлая жизнь подошла к неизбежному финалу и началась новая жизнь, писательская.

В издательстве взяли мой первый роман, еще когда я был в Лондоне. Но прежде чем он скромно вышел в свет, я успел прожить в Бонне несколько месяцев. Помню, как промозглым воскресным днем отправился в кельнский аэропорт, накупил британских газет, вернулся в Бонн, припарковал автомобиль, сел в парке на скамейку под навесом и читал их в одиночестве. Критики были доброжелательны, но восхищались сдержанней, чем я рассчитывал. Джорджа Смайли они одобрили. На этом неожиданно все и закончилось.

Каждому писателю, наверное, это знакомо: мучаешься неделями, месяцами, порой заходишь в тупик; наконец драгоценная рукопись готова; агент и издатель воодушевлены, но скорее потому, что таков ритуал; идет правка; теплятся большие надежды, тревога по мере приближения дня Икс нарастает; выходят рецензии, и на этом внезапно все заканчивается. Ну написал ты книгу год назад, так чего сидишь? Пиши еще.

Да я, собственно, и писал.

Начал новый роман, действие которого разворачивалось в частной школе. В качестве декораций использовал Шерборн, где учился, и Итон, где преподавал. Есть мнение, что к этому роману я приступил, еще работая в Итоне, но ничего такого не припомню. Я вставал ни свет ни заря, задолго до того, как нужно было отправляться в посольство, работал, быстро окончил роман и отослал. Итак, дело снова сделано, только в следующий раз я решил написать что-нибудь пожестче. О мире, в котором жил теперь.

\* \* \*

К концу первого года работы *en poste*<sup>9</sup> зона моей ответственности охватывала всю Западную Германию, я имел неограниченную свободу передвижения и всюду был вхож. Как один из странствующих миссионеров посольства, проповедующих вхождение Британии в Общий рынок, я мог напроситься на заседание муниципалитета, собрание политической организации, в кабинет мэра в любой части ФРГ. В молодой Западной Германии, решительно настроенной производить впечатление открытой, демократической страны, молодому любопытному дипломату все двери были открыты. Я мог целыми днями сидеть в бундестаге, на балконе для дипломатов, обедать с парламентскими корреспондентами и советниками. Я

---

<sup>9</sup> На [дипломатическом] посту (*фр.*).

мог постучать в дверь министра, прийти на митинг протеста или в выходные – на высокоинтеллектуальную конференцию о культуре и немецкой душе, и все время пытался понять, спустя пятнадцать лет после падения Третьего рейха, где заканчивается старая Германия и начинается новая. В 1961-м это было очень непросто. Во всяком случае для меня.

В изречении, которое приписывают канцлеру Конраду Аденауэру по прозвищу Старик, занимавшему свой пост со времен основания ФРГ, то есть с 1949 года, вплоть до 1963-го, эта проблема сформулирована четко: “Грязную воду не выливают, если нет чистой”. Многие предполагали, что таким образом он неявно намекал на Ганса Йозефа Марию Глобке, своего серого кардинала, ведавшего вопросами национальной безопасности и многими другими. Послужной список Глобке даже по нацистским меркам был впечатляющим. Он прославился еще до того, как Гитлер пришел к власти, – тем, что писал антисемитские законы для прусского правительства.

Через два года, уже на службе у своего нового фюрера, Глобке составил Нюрнбергский закон, лишавший всех евреев немецкого гражданства и обязывавший их в целях идентификации добавлять к своим именам “Сара” или “Израиль”. Неевреем, состоящим в браке с еврейками, было приказано избавиться от своих супругов. Работая в управлении нацистского правительства по делам евреев под началом Адольфа Эйхмана, Глобке написал новый закон – “Об охране германской крови и германской чести”, прозвучавший сигналом к началу холокоста.

Одновременно Глобке умудрился (потому, видимо, что был пламенным католиком) на всякий случай сблизиться с правыми антинацистскими группировками – до такой степени, что его собирались выдвинуть на высокий пост в случае, если заговорщики одержат победу и избавятся от Гитлера. Может, именно поэтому, когда война закончилась, он избежал ответственности, к которой союзники вяло пытались его привлечь. Аденауэр был решительно настроен оставить Глобке при себе. Британцы не стали ему мешать.

Вот как случилось, что в 1951-м, когда прошло каких-то шесть лет после окончания войны и два года после образования Западной Германии как отдельного государства, доктору Гансу Глобке удалось осуществить в интересах своих бывших и нынешних коллег-нацистов ловкий законодательный маневр, в который сегодня поверить трудно. По Новому закону Глобке – так я буду его называть – государственным служащим гитлеровского режима, чья трудовая деятельность прекратилась раньше срока по обстоятельствам, от этих служащих не зависящим, восстанавливали жалование в прежнем объеме, выплачивали недополученное жалование и давали пенсионные права, какими те пользовались бы, если бы Вторая мировая не началась или если бы победила в ней Германия. Словом, эти служащие получали все то, на что могли бы рассчитывать, если бы победа союзников не помешала им спокойно трудиться.

Результат не заставил себя ждать. Старая нацистская гвардия вцепилась в свои теплые местечки. А молодому поколению, запятнавшему себя в меньшей степени, пришлось сидеть под лестницей.

\* \* \*

И здесь появляется доктор Йоханнес Ульрих, ученый, архивариус, любитель Баха, хорошего красного бургундского и прусской военной истории. В апреле 1945-го, за несколько дней до того, как командующий обороной Берлина безоговорочно капитулировал перед русскими, Ульрих занимался тем же, чем и предыдущие десять лет: усердно выполнял работу хранителя и младшего архивариуса Прусского имперского архива при министерстве иностранных дел Германии на Вильгельмштрассе. Поскольку Королевство Пруссия ликвидировали в 1918-м, всем документам, проходившим через его руки, было как минимум 27 лет.

Своих фотографий в молодости Йоханнес мне не показывал, но я представляю его спортивным юношей, одевавшимся строго – в костюмы и крахмальные воротнички ушедшей эпохи, к которой он принадлежал. Когда Гитлер пришел к власти, начальство трижды настоятельно просило Йоханнеса вступить в нацистскую партию, и он трижды отказывался. Посему, когда весной 1945-го Красная армия маршала Жукова дошла до Вильгельмштрассе, младший архивариус оставался на прежнем месте и в прежнем качестве. Вошедшим в Берлин советским войскам было вообще-то не до пленных, но в министерстве иностранных дел Германии ведь находились очень ценные пленные, а также документы, изобличающие нацистов.

Что делал Йоханнес, когда русские стояли на пороге, теперь уже стало легендой. Он обернул имперский архив в куски клеенки, погрузил на тележку и, не обращая внимания на непрекращающуюся стрельбу, мины и гранаты, покатил туда, где земля была помягче, закопал архив, вернулся на свой пост и тут же был взят в плен.

Доказательства против него с точки зрения советской военной юстиции оказались неопровержимыми. Как хранитель нацистских документов он по определению считался агентом фашистской агрессии. Следующие десять лет Йоханнес провел в сибирских тюрьмах, шесть из них отсидел в одиночной камере, остальные – в общей, с психами-уголовниками, чьи повадки научился копировать – он ведь хотел выжить.

Его освободили в 1955-м по соглашению о репатриации военнопленных. Первое, что сделал Йоханнес по прибытии в Берлин, – во главе поисковой группы отправился к месту захоронения архива и руководил эксгумацией. После чего удалился поправлять здоровье.

\* \* \*

Теперь вернемся к Новому закону Глобке.

Разве могли быть привилегии, которых не заслужил этот верный госслужащий нацистской эпохи, эта жертва жестоких большевиков? Забудем, что он трижды отказывался вступить в партию. Забудем, что испытывал отвращение ко всему нацистскому и оттого еще глубже погружался в прусское имперское прошлое. Лучше зададимся вопросом, каких успехов мог бы добиться молодой архивариус с блестящим образованием, одержи Третий рейх победу.

Считалось, что Йоханнес Ульрих, десять лет не видевший ничего, кроме камеры в сибирской тюрьме, весь срок своего заключения проработал на дипломатической службе и проявил себя как человек честолюбивый. Посему он имел право на повышение жалованья в соответствии с должностью, которую мог бы теперь занимать, а также на компенсацию невыплаченного жалованья, премии, пенсионное обеспечение и – безусловно, самую желанную привилегию для любого госслужащего – рабочий кабинет, соразмерный его статусу. Ах да, еще год оплачиваемого отпуска – как минимум.

Поправляя здоровье, Йоханнес погружается в чтение книг по истории Пруссии, вспоминает о своем пристрастии к красному бургундскому и женится на восхитительно остроумной переводчице-бельгийке, которая души в нем не чает. Наконец наступает день, когда он не может уже противиться чувству долга – неотъемлемой составляющей его прусской души. Он надевает новый костюм, жена помогает ему повязать галстук и отвозит в министерство иностранных дел, которое теперь не на берлинской Вильгельмштрассе, а в Бонне. Смотритель провожает Йоханнеса в его кабинет. Да это не кабинет, а прямо *парадные покои*, уверяет Ульрих: стол акра три, сделанный по проекту самого Альберта Шпеера, ей-богу. Герр доктор Йоханнес Ульрих, хочет он того или нет, отныне – старшее должностное лицо западногерманской дипломатической службы.

\* \* \*

Чтобы увидеть Йоханнеса в лучшую его пору – а мне несколько раз посчастливилось, – вообразите сутулого энергичного человека лет пятидесяти, который беспрестанно ходит, будто до сих пор меряет шагами свою камеру в Сибири. Потом бросает на тебя вопросительный взгляд через плечо: я вас, мол, не шокировал? В тревоге закатывает глаза, ужасаясь собственному поведению, глухо, будто ухает сова, смеется и делает еще один круг по комнате, размахивая руками. Однако он не сумасшедший, подобно несчастным заключенным, к которым его приковывали в Сибири. Он блистательно, невыносимо разумен, а сумасшествие снова не в нем, но вокруг него.

Для начала Йоханнес должен во всех подробностях описать каждую деталь своих парадных покоев (для ошеломленных гостей, собравшихся на обед в Кёнигсвинтере, на берегу Рейна, по случаю моего приема в дипломатический корпус): вообразите, говорит он, черного орла с красными когтями, который, повернув голову, глядит на меня с висящего на стене герба (Йоханнес поворачивает голову вправо, изображает презрительную усмешку), и посольский письменный прибор из серебра с чернильницей и подставкой для ручки.

Потом Йоханнес выдвигает воображаемый ящик трехкрасового письменного стола Альберта Шпеера и извлекает из него внутренний телефонный справочник министерства иностранных дел ФРГ – только для служебного пользования, в переплете, говорит он, из превосходной телячьей кожи. Йоханнес двумя руками, в которых ничего нет, протягивает нам справочник, благоговейно склоняется над ним, вдыхает запах кожи и закатывает глаза, восхищаясь качеством этой вещи.

Теперь он его открывает. Медленно-медленно. Проигрывая все заново, он будто изгоняет нечистую силу, с помощью этого спектакля очищается от того, о чем подумал, когда впервые увидел фамилии в телефонном справочнике. Это были те самые аристократические фамилии и те самые их обладатели, что заслужили признание на дипломатическом поприще при нелепом Иоахиме фон Риббентропе, гитлеровском министре иностранных дел, который из камеры смертника в Нюрнберге продолжал заявлять о своей любви к фюреру.

Может, они, обладатели этих благородных имен, стали теперь хорошими дипломатами, лучше, чем раньше. Может, они исправились и теперь первые демократы. Может, они, подобно Глобке, заключили договор с какой-нибудь антинацистской группировкой в ожидании дня, когда Гитлер падет. Но Йоханнес не настроен рассматривать своих коллег столь дружелюбно. Мы, его немногочисленная публика, наблюдаем, как он падает в кресло и делает глоток красного бургундского, которое я купил, чтобы его уважить, в специализированном магазине, где мы, дипломаты, имели привилегию делать покупки. Он показывает, что именно сделал тем утром в своих парадных покоях, впервые открыв секретный телефонный справочник министерства иностранных дел ФРГ для внутреннего пользования в переплете из телячьей кожи: плюхнулся в глубокое кожаное кресло с открытым справочником в руках и читал про себя аристократические фамилии одну за другой, слева направо, медленно прочитывал каждое *фон* и *цу*. Мы видим, как увеличиваются его глаза, как шевелятся губы. Он сидит, уставившись в мою стену. Так я сидел, уставившись в стену, в моих парадных покоях, говорит он нам. Так сидел, уставившись в стену, в камере сибирской тюрьмы.

Он вскакивает с моего стула, вернее, со стула в своих парадных покоях. Снова он у трехкрасового стола Альберта Шпеера, и пусть это всего лишь расшатанный обеденный столик у стеклянной двери, ведущей в мой сад. Он раскладывает справочник на столе, разглаживает ладонями страницы. На моем расшатанном столике телефона нет, но он поднимает воображаемую трубку, указательным пальцем другой руки отмечает первый внутренний номер в справочнике. Мы слышим зуммер внутреннего телефона. Этот звук издает Йоханнес

– через нос. Мы видим, как его широкая спина сгибается и застывает, как он щелкает каблуками в обычной прусской манере. Слышим, как он по-военному гавкает в трубку, достаточно громко, чтобы разбудить моих детей, спящих наверху:

– *Heil Hitler, Herr Baron! Heir Ullrich! Ich möchte mich zurückmelden.*

Хайль Гитлер, герр барон! Говорит Ульрих! Докладываю: вернулся на службу!

Не хочу сказать, что, когда я служил дипломатом в Германии, меня так уж возмущали старые нацисты, занимавшие высокие посты, в то время как все силы нашей Службы были брошены на продвижение британской торговли и борьбу с коммунизмом. А если старые нацисты меня и возмущали – не такие уж и старые вообще-то, учитывая, что в 1960-м от Гитлера мы ушли всего на полпоколения, – то только потому, что я солидаризировался с немцами моего возраста, которым, чтобы двигаться по избранной стезе, приходилось любезничать с людьми, приложившими руку к развалу их страны.

Каково, частенько думал я, молодому амбициозному политику осознавать, что в верхах его партии сидят такие, например, знаменитости, как Эрнст Ахенбах, который в качестве руководителя немецкого посольства в Париже во время оккупации лично контролировал отправку французских евреев в Аушвиц? Французы и американцы пытались привлечь его к суду, но Ахенбах, будучи юристом по профессии, каким-то загадочным образом обеспечил себе право на освобождение от ответственности. И вместо того, чтобы предстать перед Нюрнбергским судом, открыл юридическую контору и получал хороший доход, защищая людей, обвиняемых в тех же преступлениях, какие совершил он сам. Как поступил бы наш молодой амбициозный немецкий политик, обнаружив, что за его работой надзирает Ахенбах, думал я. Молча проглотил бы это и продолжал улыбаться?

Среди прочих вещей, которые заботили меня во время работы в Бонне, а позже в Гамбурге, я думал о непобежденном прошлом Германии, оно не давало мне покоя. В душе я никогда не принимал политкорректность того времени, даже если внешне ее поддерживал. В этом смысле, полагаю, я поступал так, как поступали многие немцы во время войны 1939–1945 годов.

Даже после того, как я покинул Германию, эта тема меня не оставляла. Прошло уже много времени после “Шпиона, пришедшего с холода”, когда я вернулся в Гамбург и разыскал одного немецкого педиатра, обвиняемого в том, что он принимал участие в нацистской программе эвтаназии, которая должна была избавить арийскую нацию от лишних ртов. Оказалось, что обвинение против него безосновательно и состряпано завистливыми учеными-конкурентами. Это был для меня хороший урок. В том же 1964-м году я посетил город Людвигсбург в земле Баден-Вюртемберг и побеседовал с Эрвином Шуле, директором Центра расследований преступлений национал-социалистов. Я искал примерно такую историю, которую позже назову “В одном немецком городке”, но пока не дошел до того, чтобы использовать британское посольство в Бонне в качестве декораций. Тогда то время было слишком близко.

Эрвин Шуле оказался в точности таким, как его описывали: достойный, открытый человек, преданный своей работе. Не меньше Шуле своей работе были преданы и его сотрудники – полдюжины или около того молодых юристов с бледными лицами. Каждый в своем закутке, они ежедневно работали подолгу, изучая жуткие свидетельства, которые собирали по крохам в нацистских досье и получали из скудных показаний очевидцев. Цель у Шуле и его сотрудников была такая: возложить вину за совершенные зверства на отдельных людей, которых можно привлечь к суду, а не на войсковые подразделения, которые отдать под суд нельзя. Стоя на коленях перед детскими песочницами, они расставляли игрушечные фигурки, каждая из них была пронумерована. В одном ряду солдатики в форме с оружием. В другом – фигурки мужчин, детей и женщин в повседневной одежде. Их разделяет бороздка в песке, обозначающая место, где подготовлена братская могила, которая скоро заполнится.

Однажды вечером Шуле и его жена пригласили меня к себе, мы ужинали на балконе их дома, стоявшего на склоне лесистого холма. Шуле увлеченно рассказывал о своей работе. Это призвание, сказал он. Это историческая необходимость. Мы договорились в скором времени встретиться снова, но не встретились. В феврале следующего года Шуле сошел с самолета в Варшаве. Его пригласили ознакомиться с недавно обнаруженными нацистскими досье. Однако вместо приветствия предъявили увеличенную факсимильную копию его удостоверения члена нацистской партии. В то же время советское правительство выдвинуло против него ряд обвинений, в том числе заявило, что, будучи солдатом, на русском фронте он застрелил из своего револьвера двух мирных русских жителей и изнасиловал русскую женщину. И снова обвинения были признаны безосновательными.

Какова мораль? Чем усерднее ищешь абсолюта, тем меньше вероятность, что найдешь. Ко времени нашего знакомства, полагаю, Шуле уже стал достойным человеком. Но от своего прошлого никуда не мог деться и как-то должен был с ним разбираться, чего бы ему это ни стоило. Как немцы его поколения это делали, вот что всегда меня интересовало. Когда в Германии грянула эпоха Баадера – Майнхоф, я, например, не удивился. Многие молодые немцы прошлое своих родителей похоронили, или отвергли, или просто вынесли за пределы реальности. Однажды накопиться должно было, и накопело. И накопело не только у горстки «бандитских элементов». А у целого озлобленного, разочарованного поколения людей среднего класса, мужчин и женщин, которые тайком вступили в эту борьбу и обеспечили собственным террористам тыл и моральную поддержку.

Могло ли такое когда-нибудь случиться в Британии? Мы давно перестали сравнивать себя с Германией. Может быть, уже не осмеливаемся. Возникновение новой Германии – уверенной в себе, миролюбивой, демократической державы (не говоря уж о примерах гуманизма, которые она подает) – для многих британцев пилюля слишком горькая: как такую проглотить? Прискорбно, что перемены эти так нас огорчают.

## Глава 3

### Официальный визит

Когда в начале шестидесятых я работал в британском посольстве в Бонне, одной из самых приятных моих обязанностей было играть роль сопровождающего, или, как говорили немцы, гувернера, молодых, подающих надежды немцев, которые в составе делегаций ехали в Британию, где им предстояло познакомиться с нашим демократическим устройством, чтобы однажды – такие благородные надежды мы питали – нас в этом вопросе превзойти. Состояли эти делегации в основном из молодых депутатов и начинающих политических журналистов, некоторые из них были очень толковыми и все, насколько я могу припомнить, мужского пола.

Поездка длилась в среднем неделю: мы вылетали из кельнского аэропорта Британскими европейскими авиалиниями вечером в воскресенье, представители Британского совета или МИДа нас радушно принимали, а в следующую субботу утром мы возвращались. Пять дней были расписаны по минутам: гости посещали обе палаты парламента, присутствовали на часе вопросов в палате общин, потом посещали верховные суды и иногда штаб-квартиру Би-би-си; ходили на прием к министрам правительства и лидерам оппозиции, а какого ранга, зависело частично от положения самих делегатов, частично – от прихотей руководства этой оппозиции; и выборочно осматривали сельские красоты Англии (Виндзорский замок, Раннимид, где была подписана Великая хартия вольностей, и Вудсток, образцовый английский провинциальный городок в Оксфордшире).

Как провести вечер, молодые люди выбирали сами – пойти в театр или заняться тем, что соответствовало их увлечениям, а именно (см. информационные материалы Британского совета): делегаты католического или лютеранского толка могли пообщаться со своими единоверцами, социалисты – со своими товарищами по оружию, лейбористами; и тем, у кого предмет увлечений был особый, например развивающиеся экономики стран третьего мира, тоже предлагалось побеседовать с британскими коллегами.

А если возникнут вопросы и пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь – обращайтесь к вашему гиду-переводчику, то есть ко мне.

Они и не постеснялись. В результате в одиннадцать часов вечера, дивного летнего вечера воскресенья, я стоял у конторки портье в вест-эндском отеле с десятифунтовой банкнотой в руке и полудюжиной оживленных молодых немцев-парламентариев, которые, высываясь из-за моего плеча, требовали женщин. Они приехали в Англию четыре часа назад, большинство из них – впервые. О Лондоне шестидесятых они знали только, что это веселый город, и настроены были веселиться вместе с ним. Сержант из Скотленд-Ярда, мой знакомый, порекомендовал нам ночной клуб на Бонд-стрит, где “девчонки честно работают, без обмана”. Два черных кэба примчали нас к дверям этого клуба. Но двери оказались закрытыми на засов и свет нигде не горел. В те давно минувшие дни у нас действовали законы о закрытии торговых и присутственных мест в воскресенье, а сержант об этом позабыл. Теперь, когда надежды моих гостей были разбиты, только на портье я и мог уповать, и он меня не подвел – за десять-то фунтов:

– Пройдете до середины Керзон-стрит, сэр, по левую руку увидите окна – светятся синим светом – и написано “Уроки французского здесь”. Если окна темные, значит, девочки заняты. А если горят, значит, готовы к работе. Только делайте все по-тихому.

Как быть: идти с моими подопечными в огонь и в воду или предоставить им искать удовольствий самостоятельно? Кровь в них кипела. По-английски они почти не говорили, а на немецком по-тихому у них не всегда получалось. Окна горели. Вернее, светились, как-

то особенно двусмысленно, а больше на улице, кажется, света не было. К входной двери вела короткая дорожка. Кнопка звонка с надписью “Нажмите” была подсвечена. Не обращая внимания на совет портье, мои делегаты вели себя отнюдь не по-тихому. Я позвонил. Дверь открыла крупная дама средних лет в белом восточном платье, голова ее была повязана цветным платком.

– Что? – возмущенно спросила она, будто мы подняли ее с постели.

Я уже готов был попросить прощения за беспокойство, но член парламента от избирательного округа западного Франкфурта меня опередил.

– Мы немцы и хотим изучить французский! – прогремел он (и это было лучшее, что он мог сказать по-английски), а товарищи поддержали его одобрителем ревом.

Хозяйка осталась невозмутимой.

– По пять фунтов с человека за один раз и еще по одному – за каждый последующий, – сообщила она строгим тоном школьной учительницы.

Я уже собирался оставить своих делегатов предаваться их особым увлечениям, но тут заметил двух полисменов в форме – старого и молодого, шедших по тротуару в нашу сторону. На мне был черный пиджак и брюки в полоску.

– Я, – говорю, – сотрудник МИДа. Эти джентльмены прибыли с официальным визитом.

– Не кричите! – отвечает старый полисмен, и оба степенно идут дальше.

## Глава 4

### Рука на кнопке

Из политиков, которых мне довелось сопровождать в Британию за три года работы в британском посольстве в Бонне, больше всех меня впечатлил Фриц Эрлер, в 1963-м – главный уполномоченный Социал-демократической партии Германии по вопросам обороны и внешней политики, которому многие прочили пост канцлера ФРГ. Он был к тому же – я узнал это, отсиживая положенное время на прениях в бундестаге, – язвительным и остроумным оппонентом канцлера Аденауэра и его министра обороны Франца Йозефа Штрауса. А поскольку в глубине души я недолюбливал эту парочку не меньше, чем Эрлер, по-видимому, мне было вдвойне приятно получить задание сопровождать его во время визита в Лондон, где Эрлеру предстояло провести переговоры с главами всех фракций британского парламента, в том числе с лидером лейбористов Гарольдом Вильсоном, и с премьер-министром Гарольдом Макмилланом.

Тогда Германия, как говорится, держала руку на кнопке, и с этим был связан самый злободневный вопрос: в какой степени Бонн сможет повлиять на решение о запуске американских ракет с военных баз в ФРГ в случае ядерной войны? Эту тему Эрлер недавно обсуждал в Вашингтоне с президентом Кеннеди и его министром обороны Робертом Макнамарой. Посольство поручило мне повсюду сопровождать Эрлера во время его пребывания в Англии и помогать ему, выполняя функции личного секретаря, доверенного лица и переводчика. Эрлер, человек отнюдь не глупый, знал английский гораздо лучше, чем можно было предположить, однако процедура перевода давала дополнительное время на размышление – этого-то и хотел Эрлер, поэтому, узнав, что переводчик я неподготовленный, не испугался. Планировалось, что поездка продлится десять дней, график у нас был плотный. Министерство иностранных дел забронировало Эрлеру люкс в “Савое”, а мне – номер в том же коридоре, почти по соседству.

Каждое утро около пяти я выходил на Стрэнд, покупал у продавца утренние газеты, садился в вестибюле “Савоя” – а над моим ухом свистели пылесосы, – читал и отмечал новости и комментарии, о которых, как я считал, Эрлеру следует узнать до предстоящих днем встреч. Затем сваливал их на пол под дверь его номера, возвращался в свой и ждал сигнала к началу нашей утренней прогулки, а вернее, пробежки, который звучал ровно в семь.

Эрлер в плаще и черном берете, идущий рядом со мной размашистым шагом, казался человеком суровым и, по-видимому, сухим, но я-то знал, что и то и другое лишь видимость. Минут десять мы шли прямо, никуда не сворачивая, каждое утро новым маршрутом. Потом он останавливался, разворачивался в обратную сторону, шел, опустив голову, сцепив руки за спиной и не отрывая взгляда от тротуара, и без запинки повторял названия магазинов и надписи на медных табличках, мимо которых проходил, а я смотрел на них и проверял. После пары таких прогулок Эрлер пояснил: это умственная гимнастика, к которой он приучил себя в концлагере Дахау. Незадолго до начала войны Эрлер был приговорен к десяти годам лишения свободы за то, что “замышлял измену родине”, то есть нацистскому правительству. В 1945-м, во время печального известного марша смерти узников Дахау, Эрлеру удалось сбежать и залечь на дно в Баварии, где он и пробыл до капитуляции Германии.

Умственная гимнастика, очевидно, была эффективной: не помню, чтобы Эрлер хоть раз ошибся, повторяя названия магазинов и надписи на табличках.

\* \* \*

Десять дней мы знакомились с достопримечательностями Вестминстерского дворца – выдающимися, лучшими и не самыми лучшими. Я помню лица людей, сидевших за столом напротив, – визуально, помню некоторые голоса – на слух. Гарольд Вильсон, как мне показалось, был заметно расстроен. Меня, лишённого бесстрастности, присущей подготовленным переводчикам, весьма интересовали особенности – речевые и внешние – тех, чьи слова я переводил. Больше всего мне запомнилось, что трубку Вильсон не закуривал, а использовал как сценический реквизит. О содержании тех переговоров, как будто бы высокого уровня, я не помню вообще ничего. Наши собеседники, по-видимому, о вопросах безопасности имели такое же слабое представление, как и я, то есть мне очень повезло, ведь, хотя я спешно составил список специальных терминов из жутковатого словаря доктрины взаимного гарантированного уничтожения, на английском они оставались для меня настолько же непостижимыми, как и на немецком. Но, кажется, блеснуть ими мне так ни разу и не пришлось, а сейчас я вряд ли их и вспомню.

Только одна встреча оставила неизгладимое впечатление, и я помню ее как сейчас – визуально, на слух и по существу, – это была грандиозная кульминация нашей десятидневной поездки: предполагаемый будущий канцлер Фриц Эрлер встретился с действующим британским премьер-министром Гарольдом Макмилланом на Даунинг-стрит, 10.

\* \* \*

Сентябрь 1963-го. В марте этого года военный министр Великобритании Джон Профьюмо выступил в палате общин и заявил, что не состоял в неблагопристойной связи с мисс Кристин Килер, стриптизершей из английского ночного клуба и протееже Стивена Уорда, модного лондонского остеопата. Если женатый военный министр имеет любовницу, это, конечно, предосудительно, но не сказать чтобы неслыханно. Но если любовница эта, по всей вероятности, у него одна на двоих с военно-морским атташе советского посольства в Лондоне – а именно так заявляла Килер, – это уже слишком. Козлом отпущения стал несчастный остеопат Стивен Уорд, который после судебного процесса по сфабрикованному делу покончил с собой, не дожидаясь приговора. К июню Профьюмо сложил с себя полномочия члена правительства и парламента. К октябрю Макмиллан тоже ушел в отставку, сославшись на слабое здоровье. Эрлер встречался с ним в сентябре, всего за несколько недель до того, как Макмиллан капитулировал.

На Даунинг-стрит, 10 мы прибыли поздно, а это всегда не к добру. Посланный за нами правительственный автомобиль так и не приехал, и я вынужден был в своем черном пальто и брюках в полоску выйти на середину дороги, остановить проезжавший мимо автомобиль и попросить водителя доставить нас на Даунинг-стрит, 10 как можно скорее. Водитель, молодой человек в костюме, рядом с которым сидела пассажирка, ясное дело, решил, что я сумасшедший. Но пассажирка его отчитала: “Ну что же ты, поторопись! Они ведь опаздывают”. Молодой человек прикусил губу и послушался. Мы забрались на заднее сиденье, Эрлер протянул молодому человеку визитную карточку, сказал: будете в Бонне, обращайтесь в любое время. Однако мы все же опоздали на десять минут.

Нас провели в кабинет Макмиллана, мы принесли извинения и сели. Макмиллан сидел за столом неподвижно, сложив перед собой руки, покрытые пигментными пятнами. Его личный секретарь Филип де Зулуэта, валлийский гвардеец, которому вскоре предстояло стать рыцарем королевства, сидел рядом с Макмилланом. Эрлер по-немецки выразил сожаление, что машина опоздала. Я поддержал его по-английски. Руки премьер-министра лежали на

стекле, а под ним лежала справка, набранная крупным шрифтом, так что можно было прочитать ее и вверх ногами, с краткими биографическими данными Эрлера. Слово “Дахау” было напечатано большими буквами. Макмиллан говорил и водил руками над стеклом, как будто читал шрифт Брайля. Его аристократическое мычание, которое Алан Беннетт так точно спародировал в сатирической постановке “За гранью”, звучало как еле-еле крутящаяся грампластинка. Из уголка его правого глаза безостановочно текли слезы и, оставляя на щеке мокрый след, скатывались вдоль морщины за воротничок.

Макмиллан произнес несколько учтивых приветственных слов, вернее, задал несколько вопросов в очаровательном эдвардианском духе, правда, запинаясь, – удобно ли вас устроили? хорошо ли за вами ухаживают? познакомили ли вас с нужными людьми? – а потом с нескрываемым любопытством поинтересовался, о чем Эрлер пришел поговорить. Вопрос этот по меньшей мере застал Эрлера врасплох.

– *Verteidigung*, – ответил он.

Об обороне.

Получив такую информацию, Макмиллан сверился со справкой – могу предположить, что ему, как и мне, вновь попало на глаза слово “Дахау”, и тогда лицо его просветлело.

– Что ж, герр Эрлер, – объявил он неожиданно бодрым голосом, – вы пострадали во Вторую мировую войну, я – в Первую мировую.

Пауза для перевода, совершенно ненужного.

Вновь обмен любезностями. У Эрлера есть семья? Да, признает Эрлер, семья у него есть. Я исправно перевожу. По просьбе Макмиллана Эрлер перечисляет своих детей и добавляет, что его жена тоже занимается политикой. Перевожу и это.

– И мне сказали, что вы беседовали с американскими экспертами по вопросам обороны, – с веселым удивлением продолжает Макмиллан, еще раз изучив набранное крупным шрифтом на листе бумаги под стеклом.

– *Ja*.

Да.

– А в вашей партии тоже есть эксперты по вопросам обороны? – уточняет Макмиллан, будто уже не знает, куда деваться от этих экспертов, и сочувствует своему коллеге-политику, находящемуся в таком же положении.

– *Ja*, – отвечает Эрлер гораздо резче, чем мне хотелось бы.

Да.

Затишье. Я бросаю взгляд на де Зулуету, пытаюсь заручиться его поддержкой. Но заручиться не удастся. Я уже неделю провел бок о бок с Эрлером и знаю: если разговор идет не так, как ему хотелось бы, Эрлер начинает раздражаться. Знаю, он не боится показать, что раздосадован. Знаю, он готовился к этой встрече тщательнее, чем к остальным.

– Видите ли, они ко мне приходят, – тоскливо жалуется Макмиллан. – Эти эксперты по вопросам обороны. Так же, как и к вам, вероятно. И говорят, что бомба упадет здесь, бомба упадет там, – руки премьер-министра располагают бомбы на стекле, – но вы пострадали во Второй мировой, а я пострадал в Первой! – он как будто снова делает это открытие. – И вы, и я знаем, что бомба упадет там, где упадет!

Я кое-как перевожу. Даже по-немецки это занимает примерно половину времени, которое потребовалось Макмиллану, и кажется вздорным вдвойне. Когда я закончил, Эрлер раздумывал некоторое время. Во время раздумий мускулы его вытянутого лица произвольно сокращались. Внезапно он поднялся, взял свой берет, поблагодарил Макмиллана за уделенное время. Эрлер ждал, когда и я встану, и я встал. Макмиллан, удивленный не меньше остальных, привстал для рукопожатия и тяжело опустил обратно. Мы направились к двери, Эрлер повернулся ко мне и дал волю гневу:

– *Dieser Mann ist nicht mehr regierungsfähig.*

Этот человек не способен больше управлять. Странная формулировка, которая резанула бы немецкое ухо. Может, недавно он вычитал ее где-нибудь или услышал, а теперь процитировал. Как бы там ни было, де Зулуета это тоже услышал, хуже того, он знал немецкий. Что и подтвердил, злобно прошипев мне прямо в ухо “я все слышал”, когда я проходил мимо.

На этот раз правительственный автомобиль нас поджидал. Но Эрлер предпочел прогуляться, шел, опустив голову, сцепив за спиной руки, не отрывая взгляда от тротуара. По возвращении в Бонн я отправил ему экземпляр “Шпиона, пришедшего с холода”, который только что вышел, и признал свое авторство. Под Рождество в германской прессе появился его благосклонный отзыв о книге. Тогда же, в декабре, Эрлера избрали официальным главой парламентской оппозиции Германии. А через три года он умер от рака.

## Глава 5

### Всем заинтересованным лицам

Каждый человек старше пятидесяти помнит, где был в этот день, но я, без всяких натяжек и преувеличений, не помню, с кем был. И если вы тот высокопоставленный немецкий гость, что сидел слева от меня в ратуше Сент-Панкраса ночью 22 ноября 1963 года, то, может, будете так любезны и дадите о себе знать. А вы, разумеется, были гостем высокопоставленным, иначе с какой стати британскому правительству вас приглашать? Еще я помню, что в ратушу Сент-Панкраса мы пошли, чтобы вы могли немного передохнуть после утомительного дня, посидеть, откинувшись в кресле, и понаблюдать за нашей британской демократией широких масс в действии.

И увидели широкие массы во всей красе. Зал был забит недовольными по самые карнизы. Крик стоял такой, что я едва мог разобрать оскорбления, которыми бросались у трибуны, а уж тем более перевести их для вас. Мрачные швейцары стояли вдоль стен, сложив руки, и если бы хоть один нарушил строй, мы бы тоже стали участниками этой свалки. Не исключено, что нам предложили полицейский отряд особого назначения для охраны, а вы отказались. Я, помню, сокрушался, что не смог вас переубедить. Мы втиснулись в средний ряд, и укрыться поблизости было негде.

Объект оскорблений, которые выкрикивали из толпы, стоял на трибуне и отвечал толпе тем же. Квентин Хогг, бывший виконт Хейлшем, отказался от пэрства, чтобы бороться за место в парламенте и стать представителем партии тори от Сент-Мэрилебона. Хогг хотел борьбы, и он ее получил. Месяцем ранее ушел в отставку Гарольд Макмиллан. Надвигались всеобщие выборы. И хотя имя его в те дни уже не было широко известно, тем более за границей, Квентин Хогг, он же лорд Хейлшем, в 1963-м представлял собой образец воинственного британца минувшей эпохи. Итонец, солдат, юрист, альпинист, гомофоб и громогласный консерватор-христианин, но прежде всего – политический шоумен, известный своей высокопарностью и несговорчивостью. В тридцатые он, как и многие члены его партии, поиграл в политику умиротворения, прежде чем встать на сторону Черчилля. А после войны сделался одним из тех, кто всегда около политики и имеет все шансы занять высокий пост, но никак не может дождаться своей очереди. Однако с той ночи и до конца его долгой жизни избиратели полюбили ненавидеть британского аристократа-скандалиста.

Я не запомнил сути аргументов, которые Хогг выдвигал тем вечером, даже если и смог расслышать их сквозь шум и крики. Но запомнил, как и всякий в те дни, его покрасневшее, свирепое лицо, слишком короткие брюки и черные ботинки на шнурках, которые он снял, словно борец, выходящий на ковер, его пухлое, крестьянское лицо и сжатые кулаки и, само собой, его перекрывавший вопли толпы оглушительный аристократический рык, который я пытался перевести тому неизвестному, кого сопровождал.

И тут на сцене слева появляется шекспировский гонец. Я запомнил маленького, серого человечка, он шел почти на цыпочках. Человечек подкрадывается к Хоггу и шепчет что-то ему в правое ухо. Хогг роняет руки, которыми только что, протестуя и насмехаясь, размахивал, хлопает себя по бокам. Закрывает глаза, открывает глаза. Наклоняет свою необычайно вытянутую голову, чтобы еще раз послушать, что ему шепчут на ухо. На смену черчиллевской суровости приходит неверие, потом полнейшее отчаяние. Он смиренно просит прощения и, выпрямившись, как человек, идущий на эшафот, выходит, а гонец следует за ним. Некоторые, надеявшись, что он бежал с поля боя, принимают выкрикивать оскорбления ему вслед. Постепенно зал погружается в тревожную тишину. Хогг возвращается, мертвенно бледный, двигается скованно, неуклюже. Его встречает гробовое молчание. И все же

он медлит – склонив голову, собирается с силами. Затем поднимает голову, и мы видим, что по щекам его текут слезы.

Наконец он произносит это. Делает заявление окончательное и бесспорное, которое в отличие от всех остальных, прозвучавших от него этим вечером, опровергнуть невозможно.  
– Мне только что сообщили: президент Кеннеди убит. Собрание окончено.

\* \* \*

Проходит десять лет. Друг-дипломат приглашает меня на великосветский ужин в оксфордский колледж Всех Святых в честь усопшего благотворителя. Присутствуют только мужчины – в те дни, полагаю, это было нормой. Молодежи нет. Стол изысканный, беседа, насколько я могу понять, высокоинтеллектуальная и утонченная. Банкет проходит в несколько этапов и после каждого мы переходим из одной освещенной свечами обеденной залы в другую, еще красивее предыдущей, где также стоит длинный стол, уставленный неподвластным времени серебром. В новом зале мы каждый раз рассаживаемся по-новому, и в результате после второй – или третьей? – перемены блюд я оказываюсь рядом с тем самым Квентином Хоггом, или, как заявлено теперь на его визитной карточке, обладателем недавно пожалованного титула барона Хейлшема из Сент-Мэрилебона. Отказавшийся от прежнего титула, чтобы быть избранным в палату общин, бывший мистер Хогг взял себе новый, чтобы вернуться в палату лордов.

Я и в лучшие времена в светской беседе не силен, а уж тем более, когда меня сажают рядом с воинственным тори, лордом, чьи политические взгляды категорически идут вразрез с моими – в той мере, в какой я их имею. Авторитетный ученый слева от меня красноречиво рассуждает о предмете, совершенно мне незнакомом. Авторитетный ученый напротив меня доказывает что-то насчет древнегреческой мифологии. В древнегреческой мифологии я не силен. Однако барон Хейлшем справа от меня, взглянув на мою карточку гостя, погружается в молчание столь неодобрительное, угрюмое и категорическое, что я, при всем уважении, вынужден его нарушить. Сейчас не могу объяснить, какие такие странности хорошего тона не позволили мне заговорить о той минуте, когда в ратуше Сент-Панкраса ему сообщили об убийстве Кеннеди. Может, я посчитал, что Хоггу будет неприятно напоминание о том, как он не сумел скрыть своих чувств на публике.

Нужно выбрать тему получше, и я завожу разговор о себе. Рассказываю, что я профессиональный писатель, раскрываю свой псевдоним, который не производит на Хогга впечатления. А может, он его и так знает, потому и удручен. Я говорю: мол, мне повезло, у меня дом в Хэмпстеде, но в основном живу в Восточном Корнуолле. Расхваливаю сельские красоты Корнуолла. И спрашиваю Хогга, есть ли и у него местечко за городом, где можно отдохнуть в выходные. На это-то во всяком случае он должен что-нибудь ответить. Ясное дело, такое местечко у него есть, и Хогг раздраженно сообщает мне об этом в двух словах:

– Хейлшем, болван!

## Глава 6

### Жернова британского правосудия

В середине лета 1963-го один видный западногерманский парламентарий, находившийся в Лондоне под моей опекой в качестве официального гостя правительства Ее Величества, выразил желание посмотреть, как вращаются жернова британского правосудия, – выразил в присутствии такой величины, как сам лорд-канцлер Англии, которого звали Дилхорн, а до этого был Мэннингем-Буллер – или, как предпочитали говорить его коллеги в суде, Буйный Мэннингем.

Лорд-канцлер – член кабинета министров, который возглавляет судебную власть. Если понадобится употребить меры политического воздействия на ход какого-либо судебного разбирательства, от чего, конечно, упаси бог, этим, скорее всего, займется лорд-канцлер. Темой нашей встречи, к которой Дилхорн не проявлял ни капли интереса, был набор и обучение молодых судей для германских судов. Для моего именитого немецкого гостя этот вопрос имел жизненно важное значение, поскольку напрямую был связан с будущим германской юриспруденции в эпоху, наступившую после нацистов. А лорд Дилхорн воспринимал нашу встречу как покушение, совершенно неоправданное, на его драгоценное время и не скрывал этого.

Но когда мы поднялись и хотели уже откланяться, Дилхорн все-таки совладал с собой и поинтересовался, пусть и формально, может ли он что-нибудь сделать, чтобы нашему гостю еще приятнее было находиться в Британии, и наш гость ответил – замечу с удовольствием, ответил дерзко: да, безусловно, кое-что сделать можно. Он хотел бы взглянуть, как проходит судебное разбирательство по уголовному делу Стивена Уорда, обвиняемого в том, что он жил на безнравственные заработки Кристин Килер (о ее роли в скандале с Профьюмо я уже говорил выше). Дилхорн – а под его руководством и было состряпано это постыдное дело против Уорда – покраснел и пробормотал сквозь зубы:

– Разумеется.

Вот как вышло, что через пару дней мы с моим немецким гостем сидели бок о бок в суде номер один в Олд-Бейли, прямо за спиной обвиняемого – Стивена Уорда. Адвокат уже перешел к заключительной части оправдательной речи, а судья, которому Уорд неприятен был едва ли не больше, чем обвинителю, как мог этому адвокату мешал. Вероятно, хотя я теперь уже не вполне уверен, где-то на галерее, среди публики, сидела и Мэнди Райс-Дэвис – впрочем, тогда она так много появлялась на публике, что я могу и напутать. Мэнди, пока еще слишком молодая, чтобы получить удовольствие от того, что ей периодически приходится появляться в суде, была моделью, танцовщицей, стриптизершей и соседкой Кристин Килер.

Зато я отчетливо помню изможденное лицо Уорда, когда он, поняв, что мы какие-то важные персоны, повернулся нас поприветствовать: напряженный орлиный профиль, лицо – кожа да кости, жесткая улыбка, глаза навывкате, красные, воспаленные от усталости, и хриплый голос курильщика, будто бы беспечный.

– Как, вы считаете, обстоят мои дела? – спросил он нас внезапно, с ходу.

От актера на сцене как-то не ожидаешь, что в самый разгар драмы он повернется и станет между делом болтать с тобой. Я ответил за нас обоих – заверил Уорда, что дела его обстоят очень неплохо, и сам себе не поверил. Дня через два, не дожидаясь приговора, Уорд покончил с собой. Лорд Дилхорн и его соучастники сделали свое дело: преступник попался.

## Глава 7

### Перебежчик Иван Серов

В начале шестидесятых, в разгар холодной войны, общение между нами, младшими британскими дипломатами, служившими за границей, и нашими советскими коллегами не поощрялось. Обо всех таких контактах, случайных ли, светских или служебных, следовало немедленно докладывать начальству – желательно до того, как они произойдут. Посему, когда я вынужден был сообщить в свое лондонское ведомство, что добрых две недели ежедневно контактировал со старшим сотрудником советского посольства в Бонне и третьи лица при наших встречах не присутствовали, это вызвало некоторый переполох на служебной голубятне.

Наше знакомство оказалось для меня неожиданностью не меньшей, чем для моего руководства. Внутриполитическая жизнь ФРГ, за которой я, собственно, обязан был следить и о ней докладывать, переживала очередные катаклизмы. Редактора “Шпигеля” посадили в тюрьму за нарушение законов о неразглашении конфиденциальной информации, а упрятавшего его туда Франца Йозефа Штрауса, баварского министра, обвиняли в махинациях, связанных с закупками реактивных самолетов “Старфайтер” для германских ВВС. Каждый день становились известными новые пикантные сюжеты из жизни баварского дна с участием сводников, женщин легкого поведения и всяких сомнительных посредников.

Так что мне, естественно, надлежало делать то же, что положено делать во времена политической нестабильности: бежать в бундестаг, занимать свое место на балконе для дипломатов и использовать всякую возможность пробраться вниз и прозондировать обстановку, побеседовав с моими знакомыми среди парламентариев. Вернувшись после очередной такой вылазки к своему месту на балконе, я с удивлением обнаружил, что оно занято упитанным веселым джентльменом лет пятидесяти с кустистыми бровями, в очках без оправы, одетым в шеголеватый просторный костюм серого цвета, не вполне соответствующий времени года, к тому же с жилетом на пару размеров меньше, чем нужно было этому пузатому джентльмену.

Я говорю “мое место” только потому, что балкон у задней стены зала заседаний бундестага, маленький и высокий, как оперная ложа, на моей памяти, как ни странно, всегда был пуст, если не считать сотрудника ЦРУ, который неубедительно называл себя герром Шульцем. Увидев меня в первый раз, он, вероятно, ощутил тлетворное влияние и сел как можно дальше. Но сегодня на балконе только упитанный джентльмен. Я улыбаюсь ему. И он расплывается в приветливой улыбке. Я сажусь через два кресла от него. Внизу дебаты в самом разгаре. Сидя порознь, мы оба внимательно слушаем, и каждый понимает, что другой сосредоточен. Когда приходит время обеда, мы оба встаем, мнемся у выхода, пропуская друг друга вперед, порознь спускаемся вниз, в буфет бундестага, и из-за разных столов вежливо улыбаемся друг другу, прихлебывая суп. Ко мне присоединяется пара парламентских советников, а мой сосед по дипломатическому балкону остается в одиночестве. Когда с супом покончено, мы возвращаемся к нашим местам на балконе. Заседание парламента заканчивается. Каждый из нас идет своей дорогой.

На следующее утро я застаю его в том же, моем кресле и снова он лучезарно мне улыбается. За обедом он опять совсем один, ест суп, пока я сплетничаю с парочкой журналистов. Может, нужно пригласить его к нам? Он в конце концов коллега, дипломат. Может, нужно к нему подсесть? Мое сочувствие, как часто бывает, беспричинно: сидит человек, читает свою “Франкфуртер альгемайне” и выглядит вполне довольным. Днем он не появляется, но на дворе пятница, лето, и шторы на окнах здания бундестага опущены.

Однако наступает понедельник, и, едва я успеваю сесть на свое прежнее место, как появляется он, прикладывает палец к губам, дабы случайно не нарушить стоящий внизу шум-гам, и протягивает мне пухлую руку – поздороваться, но с таким фамильярным видом, что меня вдруг охватывает чувство вины. Я уже почти уверен: он меня знает, а я его нет; мы, конечно, встречались здесь, в Бонне, в бесконечной круговерти дипломатических коктейлей, и он об этой встрече все время помнил, а я забыл.

Хуже того, судя по возрасту и манере держаться, он, очень может быть, один из посланников, коих в Бонне великое множество. А чего посланники не любят, так это когда другие дипломаты, в особенности молодые, их не узнают. Правда открывается только через четыре дня. Мы оба делаем записи: незнакомец – в плохонькой записной книжке в линейку, перехваченной красной эластичной лентой, которую он каждый раз, сделав запись, натягивает обратно; я – в нелинованном карманном блокноте, и в мои заметки кое-где вкрапляются сделанные украдкой карикатуры на ключевых деятелях бундестага. Поэтому дальнейшее, видимо, неизбежно: однажды во время перерыва, в скучный послеобеденный час мой сосед вдруг перегибается через разделяющий нас пустой стул и спрашивает шаловливо, можно ли взглянуть; а взглянув, лишь одобрительно щурит глаза за стеклами очков, пожевывается от смеха и тут же, взмахнув рукой, будто волшебник, извлекает из кармана жилета потрепанную визитку и наблюдает за мной, пока я читаю, что там написано – по-русски, а ниже, для невежд, по-английски:

*М-р Иван Серов, второй секретарь, посольство СССР, Бонн, ФРГ.*

А в самом низу тоненько выведено от руки черным пером, тоже по-английски: КУЛЬТУРНЫЙ.

\* \* \*

Я и сейчас, словно издалека, слышу последующий наш разговор:

– Вы хотите выпить как-нибудь?

Выпить – отличная идея.

– Вы любите музыку?

Очень. Вообще-то мне медведь на ухо наступил.

– Вы женат?

Само собой. А вы?

– Моя жена Ольга, она тоже любит музыку. У вас дом?

В Кёнигсвинтере. К чему лгать? Мой адрес – вот он, в списке дипломатов, Иван может справиться о нем в любой момент.

– Большой дом?

Отвечаю, не считая: четыре спальни.

– У вас телефон есть?

Даю ему свой номер. Он записывает. Дает мне свой. А я даю ему свою визитку – второго секретаря (политического).

– Вы музыку играть? Пианино?

И рад бы, но нет, к сожалению.

– Только делать гадкие рисунки Аденауэра, так? – Со всей силы хлопает меня по плечу и раскатисто хохочет. – Слушайте. Я иметь очень маленькую квартиру. Мы играть музыку – все жаловаться. Вы меня когда-нибудь позовите, так? Пригласите нас ваш дом, и мы играть вам хорошую музыку. Меня зовут Иван, так?

Дэвид.

\* \* \*

Правило первое холодной войны: всё, абсолютно всё, не то, чем кажется. У всех двойные мотивы, если не тройные. Советский чиновник с женой открыто напрашивается в гости к западному дипломату, *которого он даже не знает?* Кто в таком случае к кому подбирается? Поставим вопрос иначе: перво-наперво, какими словами или действиями я побудил его сделать мне столь невероятное предложение? Давай-ка все сначала, Дэвид. Ты сказал, что никогда с ним не встречался. А теперь говоришь, что, *может*, и встречался?

Решение принято, кем – не моего ума дело. Я должен пригласить Серова к себе, как он и хотел. Не письмом, а по телефону. Я должен позвонить по номеру, который он мне дал, – а это официальный номер советского посольства в Бад-Годесберге. Должен назваться и попросить к телефону атташе по вопросам культуры Серова. Как именно следует выполнить каждое из этих вполне обычных, на первый взгляд, действий, мне разъяснили во всех подробностях. Когда меня соединят с Серовым – если соединят, – я должен между прочим поинтересоваться, в какой день и час ему и его жене было бы удобнее устроить музыкальный вечер, о котором мы говорили. Нужно по возможности сделать так, чтобы вечер состоялся как можно раньше, ведь потенциальные перебежчики склонны к импульсивному поведению. Нужно непременно говорить комплименты его жене, ведь ее участие в сближении, и даже просто ее согласие, исключительно важно, как и всегда в подобных случаях.

По телефону Серов был резок. Словно бы едва меня припомнил, сказал: сверюсь со своим ежедневником и перезвоню. До свидания. Больше ты о Серове не услышишь, заверило меня начальство. А через день он перезвонил – видимо, с другого телефона, поскольку на сей раз больше походил на прежнего себя – весельчака.

Итак, Дэвид, в пятницу в восемь?

Придете вдвоем, Иван?

Конечно. Серова тоже придет.

Отлично, Иван. Жду вас к восьми. Передавайте жене мои наилучшие пожелания.

Весь день в нашей гостиной возились звукоинженеры, присланные из Лондона, – тянули провода, а жена беспокоилась, что они поцарапают краску. В назначенный час на аллею, ведущую к нашему дому, вкатился громадный лимузин ЗИЛ с затемненными окнами – за рулем сидел шофер, – подъехал и медленно затормозил. Задняя дверца открылась, появился Иван – задом наперед, из машины он вытащил виолончель размером с себя самого и напомнил мне Альфреда Хичкока в одном из его собственных фильмов<sup>10</sup>. Больше никто не появился. Так он все-таки приехал один? Нет, не один. Открылась другая задняя дверца, не видная мне с крыльца. Вот сейчас я впервые увижу Серову. Но это не Серова. Это высокий, проворный мужчина в элегантном черном костюме: брюки, однобортный пиджак.

– Здравствуйте с Дмитрием, – заявляет Серов с порога. – Он приехать вместо моей жены.

Дмитрий говорит, что тоже любит музыку.

Перед обедом Серов, который, очевидно, с бутылкой дружил, выпил все, что ему предложили, заглотив целую тарелку канапе, а потом исполнил нам на виолончели увертюру к одному из произведений Моцарта, и мы ему аплодировали, громче всех Дмитрий. За обедом (подавали оленину, пришедшуюся Серову весьма по вкусу) Дмитрий сообщил нам о последних достижениях Советского Союза в сфере искусства, космических полетов и содей-

---

<sup>10</sup> В своем фильме «Дело Парадайна» (1947) Альфред Хичкок сыграл эпизодическую роль – человека, несущего виолончель.

ствия миру во всем мире. После обеда Иван исполнил для нас сложную композицию Стравинского. Мы опять аплодировали, опять следуя примеру Дмитрия. В десять на нашу аллею вновь въехал ЗИЛ, и Иван удалился, унося с собой виолончель, Дмитрий шел рядом.

Через несколько недель Ивана отозвали в Москву. Ознакомиться с его досье мне не позволили, и я так и не узнал, работал он в КГБ или ГРУ и на самом ли деле его фамилия была Серов, поэтому ничто не мешает мне вспоминать *культурного Серова*, как я его про себя называл, по-своему: общительным человеком, любителем искусства, который нет-нет да и задумывался, заигрывал с мыслью, а не перебраться ли ему на Запад. Пожалуй, несколько раз он на это намекал, однако доводить дело до конца не особенно стремился. И почти наверняка работал на КГБ или ГРУ, иначе вряд ли вел бы себя так вольно. Так что “культурный” означало “шпион”. Короче говоря, очередной русский, который разрывался между любовью к отчизне и несбыточной мечтой о свободной жизни.

Признал ли он во мне брата-шпиона? Очередного Шульца? Если в КГБ наводили справки, то уж наверняка сумели вычислить, кто я такой. Я не сдавал экзаменов для поступления на дипломатическую службу, не бывал на вечеринках в загородных домах, куда приглашали потенциальных дипломатов будто бы для того, чтобы оценить их умение вести себя в обществе. Я не проходил курс обучения в министерстве иностранных дел, даже не знаю, как выглядит головное здание МИДа на Уайтхолл изнутри. Я прибыл в Бонн неизвестно откуда и по-немецки говорил свободно до неприличия.

А если этого не доставало, чтоб распознать во мне разведчика, так были еще остроглазые жены дипломатов, неустанно следившие за конкурентами, которые могли бы помешать их мужьям продвинуться по службе, получить награду, а в перспективе, возможно, и рыцарское звание, и здесь эти жены не уступали в зоркости исследователям из КГБ. Едва взглянув на мой послужной список, они бы поняли, что насчет меня можно не беспокоиться. Я не член семьи. Я “друг” – так респектабельные британские дипломаты называли шпионов, которых, скрепя сердце, вынуждены были причислять к своим коллегам.

## Глава 8 Наследие

Две тысячи третий год. Ранним утром шофер на пуленепробиваемом “мерседесе” забирает меня из отеля в Мюнхене и везет за десять километров в симпатичный баварский городок Пуллах, где тогда занимались пивоварением, да перестали, и шпионажем – этим не перестанут никогда. За деловым завтраком мне предстоит встретиться с доктором Августом Ханнингом – в ту пору он действующий *Präsident*<sup>11</sup> германской разведслужбы, БНД, – и несколькими его коллегами из руководства. Охрана пропускает нас в ворота, мы минуем ряд низких зданий, наполовину скрытых деревьями и затянутых камуфляжной сеткой, и приближаемся к выкрашенному белой краской загородному дому, какие на юге Германии редко увидишь, скорее на севере. Доктор Ханнинг встречает нас на крыльце. Время еще есть, говорит он. Не хочу ли я у них тут осмотреться? Благодарю, доктор Ханнинг, с большим удовольствием.

Я хоть и прослужил дипломатом в Бонне и Гамбурге больше тридцати лет, прежде дела с БНД не имел. Меня “не утвердили” – так это называлось на профессиональном жаргоне, и, уж конечно, в легендарной штаб-квартире БНД я никогда не бывал. Но когда пала Берлинская стена – чего ни одна разведслужба не могла предугадать – и изумленным работникам британского посольства в Бонне пришлось собирать вещи и переезжать в Берлин, нашему тогдашнему послу пришла в голову смелая мысль пригласить меня в Бонн на торжество по случаю этого события. К тому моменту я уже написал роман “В одном немецком городке”, где не пощадил ни британское посольство, ни размещавшееся в то время в Бонне правительство. Предположив – ошибочно, – что в ФРГ усиливаются праворадикальные настроения, я выдумал заговор между британскими дипломатами и западногерманскими чиновниками, в результате которого погиб сотрудник британского посольства, твердо решивший докопаться до неприятной правды.

Поэтому я и подумать не мог, что кому-то придет в голову меня позвать, чтобы проводить посольство со старой сцены и поприветствовать на новой, однако британский посол, человек в высшей степени воспитанный, посчитал иначе. Я выступил на церемонии закрытия – кажется, получилось весело, но послу этого показалось мало, и он пригласил в свою резиденцию на берегу Рейна реальных двойников вымышленных немецких чиновников, которых я в своем романе очернил, – пригласил всех до единого и потребовал от каждого в качестве платы за превосходный обед войти в образ и произнести речь.

Доктор Август Ханнинг отнесся к этому делу с юмором и остроумно разыграл самого неприятного персонажа моей вымышленной компании. За что я был ему глубоко признателен.

\* \* \*

Итак, мы в Пуллахе, с того дня прошло уже больше десяти лет, Германия окончательно воссоединилась, и Ханнинг встречает меня на крыльце своего красивого белого дома. И хотя я здесь впервые, историю БНД в общих чертах знаю, да ее всякий знает: как генерал Рейнхард Гелен, при Гитлере – начальник военной разведки на Восточном фронте, в конце войны (в точности неизвестно когда) тайно вывез свой драгоценный “советский” архив в Баварию и

---

<sup>11</sup> Президент (нем.).

спрятал, а потом заключил сделку с американским УСС<sup>12</sup>, предшественником ЦРУ, по условиям которой передавал управлению свой архив, своих подчиненных и себя самого, а взамен становился во главе антисоветской разведывательной службы, подконтрольной США, – ее назовут Организацией Гелена, или, для посвященных, “Геленорг”.

Все это, конечно, происходит не сразу, можно даже сказать, что Гелена обхаживают. В 1945-м его переправляют самолетом в Вашингтон – юридически он пока еще военнопленный США. Аллен Даллес, главный американский разведчик, руководитель и основатель ЦРУ, присматривается к Гелену и решает, что этот парень ему нравится. Гелена балуют, ему льстят, водят на бейсбол, но он молчалив и держится отчужденно – в шпионской среде так проще простого сойти за человека глубокомысленного и непроницаемого. Никто будто бы не знает или не думает о том, что, когда Гелен шпионил за русскими для фюрера, те как раз исполняли план по введению противника в заблуждение и Гелен на эту удочку попался, а значит, большая часть его архива не представляет ценности. Это новая война, и Гелен наш человек. В 1946-м Гелена, уже, по всей видимости, не в статусе военнопленного, назначают шефом заокеанской разведслужбы, которая еще только формируется и находится под покровительством ЦРУ. Костяк геленовского личного состава – старые товарищи-нацисты. Управляемая амнезия предает прошлое истории.

Опрометчиво рассудив, что бывшие или нынешние нацисты, конечно же, встанут под знамя борьбы с коммунизмом и будут ему верны, Даллес и его западные союзники, само собой, просчитались, и крупно. Человек с темным прошлым – легкая добыча для шантажиста, это знает каждый школьник. Добавьте сюда затаенную горечь поражения, утраченное достоинство, глухую ярость – союзники ведь разбомбили твой родной, любимый город – скажем, Дрезден, – и вот вам действенный рецепт вербовки, о каком КГБ и Штази могли только мечтать.

История Хайнца Фельфе здесь хороший пример. К 1961-му, когда его наконец арестовали – в тот момент я как раз оказался в Бонне, – Фельфе, уроженец Дрездена, уже успел поработать на нацистскую СД, британскую МИ-6, восточногерманское Штази и советский КГБ – именно в таком порядке, ах да, и на БНД, конечно, где его высоко ценили как отличного игрока в кошки-мышки с советскими спецслужбами. И не зря, вероятно, поскольку заказчики Фельфе, советские и восточногерманские, скармливали ему всех числившихся у них запасных агентов, которых провидец из “Геленорг” разоблачал, стяжая славу; для своих советских начальников Фельфе был поистине драгоценен – настолько, что в Восточной Германии создали специальное подразделение КГБ, предназначенное исключительно для того, чтобы организовывать работу агента Фельфе, обрабатывать поставляемую им информацию и содействовать продолжению его блестящей карьеры в “Геленорг”.

К 1956 году, когда “Геленорг” стали громко именовать Федеральной разведывательной службой – *Bundesnachrichtendienst*, Фельфе и его сообщник Клеменс, тоже уроженец Дрездена и одна из ключевых фигур БНД, успели передать русским исчерпывающие сведения о составе и дислокации сотрудников БНД, в том числе имена 97 глубоко законспирированных оперативников, работавших за границей, а это, полагаю, был сокрушительный удар. Но Гелен – а он всегда оставался позером и, я бы сказал, выдумщиком – умудрился усидеть на своем месте до 1968-го, и к этому времени 90 процентов его агентов в ГДР работали на Штази, а дома, в Пуллахе, 16 членов обширного геленовского семейства получали зарплату в БНД.

Никто не умеет загнывать всем коллективом незаметнее разведчиков. Никто так охотно не отвлекается на второстепенные задачи. Никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения и за ней спрятаться. Никто не умеет так убедительно делать вид, будто

---

<sup>12</sup> Управление стратегических служб – разведывательная служба США, созданная во время Второй мировой войны.

смотрит свысока на всю эту публику, которой ничего другого не остается, как платить по самым высоким расценкам за разведанные второго сорта, а их прелесть не в том, что они объективно ценны, но в том, что процесс их получения окутан готической таинственностью. И во всем этом БНД, мягко говоря, не одинока.

\* \* \*

Итак, мы в Пуллахе, у нас есть немного времени, и хозяин показывает мне свой прекрасный дом, пожалуй, в английском стиле. Я впечатлен – полагаю, именно этого Ханнинг и добивался – грандиозным конференц-залом с длинным полированным столом, пейзажами XX века и симпатичным видом на внутренний двор, где на постаментах стоят скульптуры мальчиков и девочек – за их веселостью угадывается сила, наступая друг на друга, они застыли в позах античных героев.

– Доктор Ханнинг, дом просто замечательный, – вежливо отмечаю я.

На что Ханнинг с едва заметной улыбкой отвечает:

– Да. У Мартина Бормана был недурной вкус.

Я следую за Ханнингом вниз по крутой каменной лестнице, пролет за пролетом, и вот мы оказываемся в помещении, которое я бы назвал персональной модификацией фюрербункера для Мартина Бормана – здесь есть кровати, телефоны, уборные, вентиляционные насосы и все прочее, что потребовалось бы любимцу и ближайшему соратнику Гитлера для выживания. И это место, уверяет меня Ханнинг с той же иронической улыбкой, пока я бестолково озираюсь, имеет официальный статус памятника и охраняется законом земли Бавария.

Так вот куда привезли Гелена в 1947-м, думаю я. В этот дом. Передали ему паек, чистое постельное белье, его нацистские архивы и картотеки и прежних его подчиненных-нацистов, а разрозненные отряды охотников за этими самыми нацистами тем временем гонялись за Мартином Борманом, и мир, узнав о неопишуемых ужасах, творившихся в Берген-Бельзене, Дахау, Бухенвальде, Аушвице и других местах, пытался как-то это пережить. Вот где устроили Рейнхарда Гелена и его нацистскую тайную полицию: в загородной резиденции Бормана, ведь в ближайшее время она вряд ли могла ему понадобиться. Сегодня Гелен – один из начальников гитлеровской разведки, и не лучший, – бежит от разъяренных русских, а завтра он уже избалован и обласкан новыми друзьями – победоносными американцами.

Пожалуй, человек моего возраста не должен слишком уж всему этому удивляться. Хозяин дома думает так же, потому и улыбается. Разве я сам не был когда-то разведчиком? Разве Служба, где я работал, не обменивалась, и весьма активно, агентурными данными с гестапо вплоть до 1939 года? И разве она не поддерживала тесные связи с главой тайной полиции Муаммара Каддафи до самых последних дней его правления – столь тесные, что задерживала политических противников Каддафи, в том числе беременных женщин, и направляла в Триполи, а там их сажали за решетку и допрашивали, используя все имеющиеся для этого средства?

Нам пора идти обратно, подниматься по длинной каменной лестнице – нас ждет рабочий завтрак. Когда мы оказываемся наверху – думаю, в главном коридоре, ведущем в дом, однако не уверен, – я вижу, надо полагать, здешнюю доску почета, с нее на меня смотрят два лица из прошлого: адмирал Вильгельм Канарис, начальник абвера с 1935 по 1944 год, и наш друг генерал Рейнхард Гелен, первый *Präsident* БНД. Канарис, махровый нацист, но не поклонник Гитлера, вел двойную игру с немецкими группами сопротивления правого крыла и с британской разведкой тоже – контактировал с ней всю войну, правда, нерегулярно. И поплатился за двуличие в 1945-м, когда эсэсовцы без церемоний его судили и подвергли страшной казни. Смелый, но запутавшийся человек, в некотором роде герой и точно не анти-

семит, но все-таки предатель, изменивший своему правительству. Что до Гелена, еще одного предателя военной поры, теперь, когда смотришь на него беспристрастно, с исторической точки зрения, трудно понять, чем в нем можно восхищаться, кроме хитрости, умения внушить доверие и таланта обманывать самого себя не хуже любого мошенника.

И это *всё*, думаю я, всматриваясь в лица этих двух, не самых удобных персонажей? Больше не было в истории БНД людей, которых можно предложить пылким новобранцам в качестве образцов для подражания? Подумайте только, какие лакомства приготовлены для наших британских новобранцев, вступающих в секретный мир! Всякая разведслужба сама себя мифологизирует, но британцам тут равных нет. Забудем наши плачевные дела во времена холодной войны, когда КГБ почти на каждом шагу удавалось нас перехитрить и перепросчитать. Вспомним лучше о Второй мировой – вот куда, если верить британскому телевидению и бульварной прессе, вложена наша национальная гордость, и вложена очень надежно. Посмотрите на наших гениальных дешифровщиков из Блетчли-Парка! Вспомните наш хитроумный план “Дабл-кросс”, вспомните, как лихо мы обманули противника в день “Д”<sup>13</sup>, вспомните операции, которые проводили отважные радисты УСО<sup>14</sup>, и диверсантов, которых забрасывали в тыл врага! Когда впереди шагают такие герои, разве может прошлое нашей Службы не вдохновлять ее новых сотрудников?

И самое главное: мы победили, а значит, мы теперь делаем историю.

А у бедной старушки БНД нет таких славных традиций, и ей, сколько ни мифологизируй, предложить своим новым сотрудникам нечего. Она же не будет, например, рассказывать с гордостью об операции абвера “Северный полюс”, также известной под названием “Английская игра”, когда немцы больше трех лет дурачили УСО, которое в результате отправило пятьдесят отважных агентов-голландцев на верную смерть, а то и что похуже в оккупированные Нидерланды. В деле дешифровки немцы тоже добились значительных успехов – но к чему это привело? Не может БНД прославлять, скажем, Клауса Барбье, несомненно, искусного контрразведчика, бывшего шефа гестапо в Лионе, которого завербовала в свои ряды в 1966-м в качестве осведомителя. Барбье лично участвовал в пытках десятков участников французского Сопротивления, но прежде, чем это выяснилось, союзники долгое время укрывали его от правосудия. Приговоренный к пожизненному заключению, он умер в той самой тюрьме, где совершил самые страшные свои злодеяния. Но до этого, по-видимому, успел поработать на ЦРУ – помогал ловить Че Гевару.

\* \* \*

Сейчас, когда я пишу эти строки, доктор Ханнинг, ныне частнопрактикующий юрист, оказался в эпицентре скандала: специальной комиссии бундестага поручено изучить вопрос о деятельности иностранных спецслужб на территории Германии, а также о предполагаемом сговоре или сотрудничестве с ними германской разведки. Как и всякое закрытое расследование, это стало достоянием широкой публики. Нападки, инсинуации, заявления для прессы на основании неподтвержденных данных – всего хватает. Самое сенсационное обвинение, на первый взгляд, кажется маловероятным: якобы БНД и ее подразделение радиотехнической разведки с 2002 года помогали Агентству национальной безопасности США шпионить за своими же, немецкими гражданами и учреждениями – то ли умышленно, то ли по халатности.

---

<sup>13</sup> День высадки союзнических войск в Нормандии (6 июня 1944 г.).

<sup>14</sup> Управление специальных операций – британская разведывательно-диверсионная группа, действовавшая во время Второй мировой войны.

Пока что факты этого не подтверждают. В 2002-м БНД и АНБ заключили соглашение, в котором однозначно сформулировали, что слежение за гражданами Германии запрещено. А чтобы обеспечить выполнение соглашения, были созданы фильтры. Так что же, они вышли из строя? А если вышли, то кто виноват – люди, техника или просто с течением времени к этому стали небрежно относиться? И может, АНБ, заметив сбой, решило не беспокоить немецких товарищей по такому незначительному поводу?

По мнению парламентских экспертов, осведомленных лучше меня, комиссия, рассмотрев дело, придет к такому заключению: ведомство федерального канцлера не сумело выполнить предписанную ему законом обязанность – проконтролировать БНД, БНД не сумела проконтролировать сама себя, а сотрудничество с американской разведкой действительно имело место, однако сговора не было. И может быть, теперь, когда вы читаете мою книгу, выяснилось, что дело это еще запутаннее, еще неоднозначнее, и никто уже никого не винит, разве только историю.

Вероятно, в конечном счете история и правда в ответе за все. Когда сразу после войны американская радиотехническая разведка впервые поймала молодую Западную Германию в сеть, правительство Аденауэра, только оперившееся, слушало, что ему говорили, а говорили ему немного. Со временем отношения, может, и изменились, но только внешне. АНБ продолжала шпионить когда и за кем хотела – разрешение БНД ей было не нужно, и, скорее всего, при таком стиле работы с самого начала предполагалось шпионить за всем, что движется, и на территории принимающей стороны. Шпионы шпионят, потому что имеют такую возможность.

Предположение, что БНД в самом деле могла контролировать действия АНБ хоть когда-нибудь, кажется мне абсурдным, а уж тем более если дело касалось выбора разведцелей АНБ в Германии и Европе. Сегодня АНБ заявляет о своей позиции громко и четко: «Хотите знать, угрожают ли террористы вашей стране? Так мы вам расскажем, а вы молча внимайте».

После разоблачений Сноудена британцы, разумеется, и у себя провели соответствующие расследования и пришли к тем же малоубедительным выводам. Они тоже затронули щекотливый вопрос, в какой мере наша радиотехническая разведка помогала американцам делать то, что сами американцы по закону не имели права делать. Конечно, поднялся ажиотаж, однако британцы с молодых ногтей приучены обо всем молчать, и прикормленные СМИ призывают их быть посговорчивей, когда дело касается вмешательства в частную жизнь. Если нарушен закон, его быстренько переписали, чтобы с этим нарушением примирить. А если кто-то громко протестует, консервативная пресса тут же затыкает ему рот. Аргументы у нее такие: если отвернемся от Соединенных Штатов, кто мы после этого?

В Германии, пережившей фашистов и коммунистов – и все это на протяжении одной человеческой жизни, – к шпионам на службе у государства, которые суют свой нос в дела честных немецких граждан, напротив, относятся очень серьезно, особенно когда шпионы делают это по приказу и ради выгоды иностранной сверхдержавы и предполагаемого союзника. То, что в Британии именуют особыми отношениями, в Германии называют государственной изменой. И все же, я полагаю, к тому времени, как эта книга уйдет в печать, никакого однозначного вердикта так и не будет вынесено – в наши-то беспокойные времена. Бундестаг выскажет свое мнение, прозвучат слова о великой цели борьбы с терроризмом, и обеспокоенным немецким гражданам посоветуют не кусать руку, которая их защищает, пусть иногда эта рука и делает что-то не то.

Но если, вопреки ожиданиям, подтвердятся худшие подозрения, чем можно будет утешиться? Пожалуй, только тем, что БНД подобно всякому, кого растили кое-как, не вполне понимала, кем же ей быть. Тому, кто заключил двустороннюю сделку со всемогущей иностранной спецслужбой, придется нелегко даже в лучшем случае, а уж тем более если страна,

с которой ты заключил сделку, поставила тебя на ноги, меняла тебе пеленки, давала на карманные расходы, проверяла домашнее задание и говорила, в какую сторону идти. И еще трудней, если эта страна-родитель частично делегирует своим разведчикам внешнеполитические полномочия, а Соединенные Штаты в последние годы делают это, пожалуй, слишком часто.

## Глава 9

### Невинный Мурат Курназ

Сию в номере, на верхнем этаже одной из гостиниц Бремена, что на севере Германии, вижу из окна школьный стадион. 2006 год. Мурата Курназа, немецкого турка, который в Бремене родился, вырос и получил образование, только что, после пяти лет заключения, освободили из тюрьмы Гуантанамо. Прежде чем туда попасть, Курназ был арестован в Пакистане, продан американцам за три тысячи долларов и два месяца находился в американском пыточном центре в Кандагаре, где его пытали током, избивали до полусмерти, топили, вешали на крюк, так что Мурат, хоть и был весьма силен физически, едва не умер. Курназ успел отсидеть в Гуантанамо год, когда занимавшиеся его делом следователи, американцы и немцы – двое из БНД и один из внутренней службы безопасности, – пришли к выводу, что он безобиден, бесхитростен и не угрожает интересам Германии, Америки или Израиля.

И тут возник парадокс, который я не возьмусь разрешить, объяснить, а уж тем более дать ему оценку. Когда я познакомился с Курназом, я не подозревал, что доктор Ханнинг, сидевший со мной за одним столом у английского посла в Бонне и принимавший меня в Пуллахе, сыграл в судьбе Мурата какую-то роль, и даже значительную. А сейчас я услышал, что всего за несколько недель до нашей встречи на совещании с высшими должностными лицами и руководством разведки президент БНД Ханнинг, очевидно, вопреки рекомендациям сотрудников его же собственного ведомства, проголосовал против возвращения Курназа в Германию. Если уж Курназу надо куда-то вернуться, пусть едет в Турцию, на историческую родину. Прозвучало и кое-что позамысловатее: нет, мол, гарантий, что Курназ не был террористом в прошлом или не станет им в будущем – по-видимому, так, Ханнинг.

В 2004-м Мурат все еще в тюрьме, а полиция и служба безопасности земли Бремен тем временем объявляют, что Курназ не продлил вид на жительство, срок действия которого к тому времени истек – простительная оплошность, не правда ли, учитывая дефицит ручек, чернил, почтовых марок и писчей бумаги в камерах Гуантанамо, – и посему в родительский дом вернуться не может.

И хотя суд немедленно отменил постановление бременских властей, публично Ханнинг от своих слов до сих пор не отказался.

Но когда я вспоминаю, как лет этак шестьдесят назад, во времена холодной войны, мне, занимавшему пост гораздо скромнее, приходилось принимать решения относительно людей, так или иначе попавших в определенную категорию – например, прежде сочувствовавший коммунистам или их предполагаемый попутчик, тайный член партии и так далее, – то вижу, что и сам, подобно Ханнингу, был связан по рукам и ногам. На первый взгляд и теоретически, молодой Курназ на роль террориста подходил по многим параметрам. В Бремене посещал мечеть, известную тем, что в ней проповедовали радикальные идеи. Перед поездкой в Пакистан отращивал бороду, призывал родителей строже соблюдать Коран. А когда поехал, то поехал тайно, родителям ничего не сказал – не самое хорошее начало. Мать Курназа, крайне встревоженная, сама побежала в полицию и заявила, что в мечети Абу Бакра ее сына сделали исламским радикалом, что он читал джихадистскую литературу и собирался воевать с неверными в Чечне или Пакистане. Другие бременские турки – неясно, из каких побуждений – рассказывали те же небылицы. Впрочем, это неудивительно. Подозрения, взаимные обвинения, отчаяние посеяли раздор внутри диаспоры. В конце концов атаку на башни-близнецы от начала и до конца спланировали братья-мусульмане, жившие совсем недалеко, в Гамбурге. Мурат же стоял на своем: он ехал в Пакистан с одной-единственной целью – продолжить мусульманское религиозное образование. Итак, Курназ, подходивший

по всем параметрам, террористом все же не стал, и это исторический факт. Никакого преступления он не совершил, и за свою невиновность терпел страшные муки. Но я понимаю, что если б вернулся в те дни и в той же атмосфере страха столкнулся с человеком, у которого такая анкета, то и сам не спешил бы защищать Курназа.

\* \* \*

Уютно расположившись в номере бременской гостиницы, попивая кофе, мы беседуем с Курназом, и я спрашиваю, как ему удавалось общаться с другими узниками из соседних камер, ведь это запрещено под страхом немедленного избиения и разных ограничений, а Курназу и так доставалось больше других – во-первых, из-за его упрямства, во-вторых, из-за богатырского телосложения: в карцере он помещался с трудом и 23 часа в сутки не мог ни стоять толком, ни сидеть.

Надо быть осторожным, говорит он, но сначала молчит и обдумывает ответ – к этому я начинаю привыкать. Не только с охранниками, с заключенными тоже. Ни в коем случае не спрашивать, за что они здесь сидят. Ни в коем случае не спрашивать, принадлежат ли они к “Аль-Каиде”. Но когда день и ночь сидишь на корточках в метре от другого заключенного, естественно, рано или поздно попробуешь установить с ним контакт.

Во-первых, в камере был крохотный умывальник, но он годился скорее для переключки. В определенное время – как его определяли, Курназ не хотел рассказывать, поскольку многие из его собратьев, предполагаемых боевиков, по-прежнему находились в тюрьме<sup>15</sup>, – никто из заключенных не пользовался раковиной, и тогда они шепотом переговаривались через сливное отверстие. Слов, конечно, нельзя разобрать, только гул множества голосов, но ты чувствуешь, что не один.

А еще была пенопластовая миска – в ней приносили суп и просовывали в камеру через специальное отверстие вместе с ломтем черствого хлеба. Выпиваешь суп, затем отламываешь от края миски кусочек размером с ноготь, надеясь, что охранник не обратит внимания. Потом ногтем, который ты затем и отрастил, царапаешь на этом кусочке пенопласта что-нибудь на арабском, из Корана. Оставляешь кусочек хлеба, пережевываешь, скатываешь из него шарик и ждешь, пока он затвердеет. Вытягиваешь из своей хлопчатобумажной робы нитку, к одному ее концу привязываешь хлебный шарик, к другому – кусочек пенопласта. А потом бросаешь все это соседу через решетку (шарик служит грузом), он тянет за нитку, и кусочек пенопласта оказывается у него.

И таким же порядком на твое письмо потом отвечают.

Невиновного человека, который даже с точки зрения туманных правовых норм тюрьмы Гуантанамо признан содержащимся пять лет под стражей без всяких на то оснований и наконец отправляется домой, безусловно, следует вознаградить – по справедливости и ради соблюдения приличий: на авиабазу Рамштайн в Германии освобожденного следовало доставить специально для этого предназначенным самолетом. Для путешествия Курназу выдали чистое нижнее белье, джинсы и белую футболку. А чтобы было уж совсем спокойно, поставили к нему на время полета десять американских солдат, и когда те передавали Курназа из рук в руки принимающей стороне, старший офицер предложил своему немецкому коллеге легкие и удобные наручники – для Курназа, ведь его путешествие еще не закончилось, – но немецкий офицер, тем самым навечно прославившийся, ответил:

– Он не преступник. Здесь, в Германии, он свободный человек.

---

<sup>15</sup> К моменту выхода этой книги в печать в Гуантанамо остается 80 узников, примерно половина из них уже готовятся выйти на свободу (Прим. автора).

\* \* \*

Но Август Ханнинг так не считал.

В 2002-м он объявил, что Курназ представляет угрозу национальной безопасности Германии, и с тех пор, насколько мне известно, так и не объяснил, почему не согласен с заключением немецких и американских следователей. Однако спустя пять лет, в 2007-м, теперь уже в качестве главного разведчика министерства внутренних дел, Ханнинг не только вновь протестует против пребывания Курназа в Германии – а это вопрос злободневный, ведь Курназ к тому времени вернулся на немецкую землю, – но и обвиняет следователей БНД, которые прежде работали непосредственно под его началом и признали Курназа безопасным, в превышении полномочий.

И когда выяснилось, что я, пусть и с запозданием, встал на сторону Курназа, Ханнинг, о котором я по-прежнему высокого мнения, по-дружески меня предупредил: не стоит, мол, этому человеку симпатизировать, – но по какой причине, не сказал. И поскольку таковые причины до сих пор неизвестны ни широкой публике, ни многоуважаемому адвокату Курназа, совету Ханнинга я последовать никак не могу. Может, здесь имелась в виду некая высшая цель? Мне даже хочется так думать. Может, демонизировать Курназа было необходимо по политическим соображениям? И Ханнингу, которого я считаю достойным человеком, пришлось взять на себя эту миссию?

Недавно Курназ приезжал в Англию, чтобы презентовать книгу “Пять лет моей жизни”, в которой он описал пережитое<sup>16</sup>. Книга имела успех в Германии, была переведена на несколько языков. И я с воодушевлением старался этому поспособствовать. Прежде чем посетить другие города, Мурат остановился у нас в Хэмпстеде, и его неожиданно пригласили побеседовать с учениками Университетской школы Хэмпстеда – идея принадлежала Филиппу Сэндсу, королевскому адвокату и правозащитнику. Курназ согласился, с ребятами разговаривал в своей обычной манере: просто и обстоятельно, на беглом английском, который выучил сам – в Гуантанамо, в том числе во время пыток и допросов. Слушателей набился целый зал – школьников разных вероисповеданий и вообще неверующих, и всем им Курназ сказал, что выжил только благодаря мусульманской вере. Своих охранников и мучителей он не обвинял. О Ханнинге и других немецких чиновниках и политиках, выступавших против его возвращения, как обычно, не упоминал. Рассказал, что, покидая тюрьму, оставил надзирателям свой домашний адрес в Германии – на случай, если однажды бремя собственных деяний покажется им невыносимым. Только говоря о долге перед братьями-заключенными, оставшимися в тюрьме, Курназ не мог сдержать волнения. Я не буду молчать, сказал он, до тех пор, пока из Гуантанамо не освободят последнего узника. Желающих пожать ему руку после выступления оказалось так много, что им пришлось становиться в очередь.

Один из героев моего романа “Самый опасный человек” – рожденный в Германии турок того же возраста и вероисповедания, что и Мурат, с похожей биографией. Его зовут Мелик, и за грехи, которых не совершал, он платит ту же цену. Мелик очень похож на Мурата Курназа – он такого же телосложения, так же ведет себя и говорит.

---

<sup>16</sup> *Five Years of my Life*. Книга вышла в издательстве “Пэлгрейв Макмиллан” (Прим. автора).

## Глава 10

### В полевых условиях

В Корнуолле у нас каменный сельский дом, он стоит на скале, над обрывом, а мой письменный стол стоит на чердаке этого дома. Солнечным июльским утром смотрю в окно прямо перед собой и вижу только Атлантический океан, окрашенный – пусть это прозвучит нелепо – настоящей средиземноморской синью. Идет регата, яхты длинными острыми парусами прикили к ленивому восточному ветерку. Друзья, которые приезжают погостить, говорят, что мы, живущие здесь, или безумцы, или счастливчики – от погоды зависит, и сегодня мы счастливчики. Здесь, на окраине суши, погода атакует без предупреждения, когда вздумается. День и ночь дует штормовой ветер, потом вдруг все прекращается и наступает тишина. В любое время года на наш мыс может приземлиться пухлое облако тумана, и если бы пролился дождь, хоть капля, и заставил это облако уйти – так нет!

Метрах в двухстах от нас, если двигаться вглубь полуострова, стоит старая усадьба с красивым названием Боскауэн-Роуз, к ней примыкает полуразвалившийся домик, а в нем живет семейство амбарных сов – сипух. Всех вместе я видел их только однажды: две взрослые совы и четверо птенцов уселись рядком на сломанном подоконнике – словно для семейной фотографии, вот только сделать ее мне было некогда. С тех пор мы поддерживаем отношения только с одной из сов-родителей – по крайней мере, я так решил, хотя почему знает, может, и с кем другим из обширного семейства, ведь птенцы, конечно, давно выросли. Это сова-отец – буду так о нем думать, и мы с ним тайные сообщники: задолго до того, как промелькнуть в западном окне, он каким-то необъяснимым способом посылает мне сигнал о своем приближении. Я сижу и строчу без остановки, склонив голову, в надежде, что реальность меня уже не затронет, но всегда успеваю заметить бело-золотую тень, проносящуюся низко над землей под моим окном. Никогда не видел, чтоб на него охотились хищники. Вороны, живущие на скалах, и сапсаны предпочитают с ним не связываться.

А еще он безошибочно чует слезку – мы, люди-шпионы, назвали бы такое чутье сверхъестественным. Прибрежный луг круто обрывается у моря. Сова парит в полуметре над высокой травой, примериваясь, чтобы схватить ничего не подозревающую мышь. Но стоит мне только подумать, не поднять ли голову, как сова прекращает операцию и ныряет вниз со скалы. Если повезет, наступит вечер, когда он забудет обо мне, прилетит снова, и только кончики его молочно-медовых крыльев будут трепетать. В этот раз обещаю себе не поднимать головы.

\* \* \*

Солнечным весенним днем 1974-го я приехал в Гонконг и выяснил, что между островом Гонконг и Коулуном на большой земле без моего ведома проложили подводный туннель. Я только что внес последние правки в текст романа “Шпион, выйди вон!” и отдал его в издательство. Печатать могли начать в любой момент. Одним из самых увлекательных эпизодов книги мне казалась погоня на пароме “Стар ферри” по проливу между Коулуном и Гонконгом. До самой смерти буду стыдиться, но упомянутый отрывок я рискнул написать, не выезжая из Корнуолла – воспользовался устаревшим путеводителем. И теперь за это расплачивался.

В отеле был факсимильный аппарат. Пробный переплетенный экземпляр романа лежал у меня в чемодане. Я его откопал. Позвонил своему агенту – а у того была глухая ночь, – и умолял его как-нибудь уговорить издателей приостановить печать. Или в Америке мы это

сделать не успеем? Он узнает, но боится, не успеем. Я еще пару раз проехал по туннелю с блокнотом на коленях, отправил по факсу в Лондон исправленный текст и поклялся, что никогда больше действие моих романов не будет разворачиваться в местах, которых я не видел. Агент оказался прав: остановить выход первого американского издания мы не успели.

Но помимо необходимости все исследовать лично я осознал еще одно. Что к середине жизни становлюсь тучным, ленивым и живу за счет прежде накопленных впечатлений, а их запас истощается. Настало время бросить вызов неведомым мирам. В ушах звенело изречение Грэма Грина примерно следующего содержания: чтобы рассказывать о человеческой боли, нужно самому ее испытать.

Правда ли дело в туннеле или я позже все это понял, теперь несущественно. Одно только могу сказать наверняка: после истории с туннелем я закинул на плечи рюкзак и, вообразив себя таким скитальцем в лучших традициях немецкого романтизма, отправился на поиски приключений – сначала в Камбоджу и Вьетнам, потом в Израиль и к палестинцам, а дальше в Россию, Центральную Америку, Кению и Восточное Конго. Это путешествие так или иначе продолжается последние сорок с лишним лет, и я считаю, что началось оно в Гонконге.

Уже через несколько дней мне улыбнулась удача: я случайно познакомился с тем самым Дэвидом (Хью Дэвидом Скоттом) Гринуэем, который потом выбежит из моего шале, забыв паспорт, бросится вниз по обледеневшей дорожке и станет одним из последних американцев, покинувших Пномпень. Он задумал рискованное дело – отправиться в зоны боевых действий, чтоб написать материал для “Вашингтон пост”. Не хочу ли я составить ему компанию? Через сорок восемь часов я лежал, перепуганный до смерти, рядом с ним в мелком окопе и высматривал красных кхмеров – снайперов, вросших в противоположный берег Меконга.

Прежде по мне никогда не стреляли. В мире, куда я попал, все, казалось, смелее меня – и военные корреспонденты, и обычные люди, идущие по своим делам, зная, что боевики, красные кхмеры, взяли их город в кольцо и стоят всего в нескольких километрах, что в любое время дня и ночи может начаться бомбежка и что армия Лон Нола, которую поддерживают американцы, слаба. Я, правда, был здесь новичком, а они – старожилками. И наверное, когда постоянно живешь в опасности, в самом деле начинаешь к ней привыкать и даже, боже упаси, от нее зависеть. Позже, в Бейруте, я в это почти поверил. А может, я просто один из тех, кто не способен признать факт неизбежности людских конфликтов.

Каждый понимает смелость по-своему, и всякая точка зрения субъективна. Каждый задумывается, где его предел, когда и как он этого предела достигнет и как будет действовать – лучше или хуже других. О себе могу сказать только, что смелым или почти смелым чувствовал себя, если преодолевал противоположное качество – его можно определить как врожденную трусость. Чаше всего это происходило, когда люди вокруг меня проявляли больше смелости, чем мне досталось от природы; я смотрел на них и брал смелость взаймы. И из всех этих людей, повстречавшихся мне на пути, самой смелой (кто-то скажет, безумной, но я не из их числа) была Иветт Пьерпаоли, маленькая француженка из провинции, из города Меца, которая вместе со своим партнером, швейцарцем Куртом, бывшим капитаном дальнего плавания, занималась в Пномпене бизнесом – возила кое-что из-за границы; бизнес был захудалый, но все-таки они держали старенький одномоторный самолет и колоритную команду пилотов и летали из города в город над вражескими джунглями, где засел Пол Пот, – доставляли еду, медикаменты и отвозили больных детей в Пномпень, пока там еще было относительно безопасно.

Потом красные кхмеры плотнее сомкнули кольцо вокруг Пномпеня, в столицу отовсюду хлынули беженцы целыми семьями, а беспорядочные артобстрелы и взрывающиеся автомобили постепенно превратили город в руины, и тогда Иветт Пьерпаоли поняла, что

истинное ее призвание – спасать попавших в беду детей. Пилоты Иветт – разношерстная команда китайцев и азиатов других национальностей – больше, конечно, привыкли возить пишущие машинки и факсимильные аппараты, которыми Иветт торговала, но теперь занялись другим: эвакуировали детей и их матерей из отдаленных городов, уже готовых сдать красным кхмерам во главе с Пол Потом.

Неудивительно, что святыми пилоты были только по совместительству. Некоторые из них параллельно совершали рейсы для “Эйр Америка” – авиакомпании ЦРУ. Другие занимались перевозкой опиума. А большинство делали и то и другое. Больных детей в салоне самолета укладывали на мешки с опиумом или полудрагоценными камнями – пилоты возили их из Пайлина и получали комиссионные. Я с этими ребятами тоже летал, так один из них, помнится, ради развлечения инструктировал меня, как посадить самолет – на случай, если он заторчит от морфия и сам не сможет. В романе, для которого я тогда собирал материал, позже названном “Достопочтенный школяр”, этот пилот получил имя Чарли Маршалл.

В Пномпене Иветт делала все, чтобы дать кров и надежду детям, у которых не было ни того ни другого, – и здесь тоже не ведала страха. Путешествуя с Иветт, я впервые увидел убитых на этой войне: окровавленные трупы босых камбоджийских солдат лежали рядами в кузове грузовика. Кто-то забрал их обувь, а заодно, конечно, и расчетные книжки, наручные часы и деньги, что были при них во время боя. Грузовик стоял рядом с артиллерийской батареей, кажется, без всякой цели стрелявшей по джунглям. Рядом с орудиями сидели маленькие дети, оглушенные выстрелами и растерянные. Рядом с детьми сидели их молодые матери, чьи мужья сражались в джунглях. Женщины ждали возвращения своих мужей, зная, что, если те не вернуться, командиры докладывать об этом не станут, а будут и дальше получать за них денежное довольствие.

Иветт кланялась, улыбалась, *пробредаясь*, как она говорила, среди женщин, потом села рядом с ними и собрала вокруг себя детей. Что такое она могла им сказать, перекрикивая орудийный грохот, я никогда не узнаю, но все тут же рассмеялись – и мамы, и дети. Даже стоявшим у орудий мужчинам шутка понравилась. А в городе мальчишки и девчонки сидели, скрестив ноги, в пыли на тротуарах, рядом стояли литровые бутылки с бензином – дети тайком сливали его из бензобаков разбитых машин. Если поблизости взрывался снаряд, бензин воспламенялся, огонь перекидывался на детей. Услышав с балкона взрыв, Иветт прыгала в свой страшненький автомобиль, который водила словно танк, и прочесывала улицы в поисках уцелевших.

\* \* \*

Прежде чем Пномпень в конце концов сдался красным кхмерам, я был там еще дважды. Когда уезжал во второй раз, в городе, похоже, оставались только лавочники-индийцы и женщины легкого поведения, до последнего не хотели уходить: торговцы – потому что, чем острее дефицит, тем выше цены, девочки – потому что по простоте душевной полагали, что их услуги будут востребованы независимо от того, кто победит. На самом же деле они пополнили ряды красных кхмеров или умерли в муках на полях смерти. Из Сайгона – тогда он еще так назывался – я написал Грэму Грину, что перечитал “Тихого американца” и, на мой взгляд, роман весьма добротный. Невероятно, но письмо дошло, и Грин написал ответ – действительно советовал мне посетить музей в Пномпене и полюбоваться котелком со страусовыми перьями, которым короновали кхмерских королей. Пришлось сказать ему, что нет уже в помине не только котелка, но и музея.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.